

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

КОНИ

ЛУЧШИЕ РЕЧИ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Анатолий Кони
Лучшие речи

«Издательство АСТ»

2022

УДК 37.965(47)
ББК 67.75

Кони А. Ф.

Лучшие речи / А. Ф. Кони — «Издательство АСТ»,
2022 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-145713-6

Анатолий Федорович Кони (1844–1927) – доктор уголовного права, знаменитый судебный оратор, видный государственный и общественный деятель, одна из крупнейших фигур юриспруденции Российской империи. Начинал свою карьеру как прокурор, а впоследствии стал известным своей неподкупной честностью судьей. Кони занимался и литературной деятельностью – он известен как автор мемуаров о великих людях своего времени. В этот сборник вошли не только лучшие речи А. Кони на посту обвинителя, но и знаменитые напутствия присяжным и кассационные заключения уже в бытность судьей. Книга будет интересна не только юристам и студентам, изучающим юриспруденцию, но и самому широкому кругу читателей – ведь представленные в ней дела и сейчас читаются, как увлекательные документальные детективы. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 37.965(47)
ББК 67.75

ISBN 978-5-17-145713-6

© Кони А. Ф., 2022
© Издательство АСТ, 2022

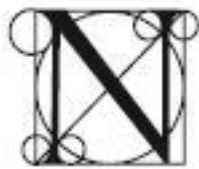
Содержание

I. Обвинительные речи	6
По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем	6
По делу об оскотлении[2]купеческого сына Горшкова	15
По делу о лжеприсяге в бракоразводном деле супругов Зыбиных	28
По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и Гермении Аккар, обвиняемой в выпуске таких билетов в обращение	37
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Анатолий Кони

Лучшие речи

Серия «Эксклюзив: Русская классика»



© ООО «Издательство АСТ», 2022

I. Обвинительные речи

По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем

12 декабря 1872 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем.

Суть дела состояла в следующем: 15 ноября 1872 г. в реке Ждановке был обнаружен труп женщины, в котором местные жители опознали Лукерью Емельянову, жену Егора Емельянова, служившего номерным в банях.

Емельянов, находившийся с 23 часов 14 ноября 1872 г. за нанесение побоев студенту Смиренскому под стражей, объяснял смерть жены самоубийством, последовавшим «от грусти при предстоявшей ей семидневной разлуке с недавно женившимся мужем». Объяснение было признано удовлетворительным, и тело Лукерьи предано земле. Но вследствие начавшихся разговоров полиция произвела дознание и установила, что Емельянов в присутствии Аграфены Суриной утопил свою жену. Емельянов не признал выдвинутого против него обвинения и объяснил, что Аграфена оговаривает его «за то, что он не женился на ней».

Заседание суда происходило при открытых дверях под председательством товарища председателя К. Д. Батурина, обвинение поддерживал А. Ф. Кони, защищал обвиняемого В. Д. Спасович.

* * *

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела; между ними часто встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговариванья и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимой.

Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела; они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколо-тил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, и тело было предано земле, а дело воле божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорила, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значе-

ние. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже взятая вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности нисколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, трусая, или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие, оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.

Существует ли первое условие в показании Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорила, по первому толчку, данному Дарьей Гавриловой, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Само поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделала, — волею или неволею, об этом судить трудно, — свидетельницу важного и мрачного события, она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделалось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, работая в прачечной, спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжкое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницей, и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.

Обращаясь ко второму условию: может ли показание это иметь своею исключительною целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшною ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого, но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой; это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что, даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельною ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь

несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие, но чрез неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы, он опять у нее, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить, – а свидетели показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года, – величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него... Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.

Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовою обстановкою действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания, – сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что, когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этою клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в ноябре, целовался на улице, и не таясь, с Аграфеною. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по несколько раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно – показаниями служащего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя мирового съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор съезда не бывает, этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показания Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские, добрые отношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться: они должны измениться в ту или другую сторону. На них должна была постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такою силою и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастье упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены, или, напротив, рассудок подчинится страсти, заглухнет голос совести и страсть, увлекая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на середине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется или, развиваясь чем далее, тем быст-

рее, доходит до крайних пределов. Для того чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно взглянуть в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимый представляется нам на суде; оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.

Лет в 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных» банях. Известно, какого рода эта обязанность; здесь, на суде, он сам и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с 16 лет. У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянное беззастенчивое проявление грубой чувственности. Рядом с этим является добывание денег не действительною, настоящею работою, а «наводкою». Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенною женщиною, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот какова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды, внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззастенчивого проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладеет чувственное желание обладания... Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», беспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно – и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», – стало быть, человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращающийся со своею любовницею, «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю: «Идешь ли?» – прикрикивает он на жену, зовя ее с собою; «Гей, выходи», – стучит в окно, «выходи», – властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих нравственных начал дать не могла.

Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая: «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», – говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться», – прибавил он. Итак, это вот какая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, главное – скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном; она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удержать улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.

Вот такие-то три лица сводятся судьбою вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеною; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотою, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девичью

ческой чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодою, невинною женою должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, – это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьей, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая... Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстною натурою, испытавшей житье с Аграфеной? И ему, особенно при его обстановке, приходилось выдвигать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья – совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно. А тут Аграфена снует, бегаёт по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать; в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», – т. е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив... Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукою и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеною и с собою – и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.

Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил плод сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина: «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерья не было», – сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерьи, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриной, Лукерья передавала ей слова мужа: «тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано – понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но я сама на себя рук накладывать не стану». Видно, мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму – «тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как и что для этого сделать? Убить... Но как убить? Зарезать ее – будет кровь, нож, явные следы, – ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления и т. д. Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство – утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок, – это время самое удобное, потому, что при обнаружении убийства он окажется под арестом и даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убий-

ства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины; когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осеннею и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т.е. к тому, что она видела Егора, топившим жену; в этом она тверда и впечатление это передает с силою и настойчивостью. Она говорит, что, испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он таки утопил ее; спросила о жене – Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаева удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету, употребить около 20 минут времени.

Нам могут возразить против показания Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих возможных возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т.д. Вглядитесь в эти два пункта возражений, и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45 градусов. Понятно, что, начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу и если затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается и следов ее не останется: природа сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола куцавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого, а пришел он в участок десять минут одиннадцатого, т.е. через 25 минут после выхода из дома и минут чрез 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате и затем его уже обыскивают.

Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей; один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней; другой сказал сначала, что всего его обыскивал, и потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув ее голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерьи будет поражена внезапным нападением, – в сильных руках разъяренного мужа не соберется с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одной рукой за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другой нагибал ее голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем

ей удержаться от утопления? У нее свободна одна лишь рука, но перед нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водою, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему делали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей; один говорит, что он посажен в часть в сапогах, другой говорит – босиком; один показывает, что он был в сюртуке, другой говорит – в чуйке и т.д. Наконец, известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке, – станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?

Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть по-детски легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходиться в такое отчаяние, чтобы топиться ввиду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать невозможным, примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей «в Ждановку». Но, живя в России, мы знаем, какое в простом классе жестокое обращение с женой. Оно выражается гораздо грубее и резче, в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и на шуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороной в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказывая и истязая. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказывать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как рассказала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры – у бедной женщины – кофту: для чего же? – чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин¹. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность... Но чувство самосохранения непременно скажется, – молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому только гибнут под водою, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкою самоубийства, знает, что утопление, а также прыжок с высоты, – два преимущественно женских способа самоубийства, – совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорей, сразу, без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду бросаются, а не ищут такого места, где бы надо было входить в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не вставать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.

¹ Аршин – старорусская мера длины, равная 71,12 см. Здесь и далее примечания редактора.

Но, быть может, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такою женщиною, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в десять минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дома он вызвал Аграфену, как говорит Николаева. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через 20 минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один на один сладить с Лукерьею, как мог сладить с нею ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной как убийце Лукерьи рушится, и мы приходим к тому, что показание Суриной в существе своем верно. Затем остаются неразъясненными два обстоятельства: во-первых, зачем обвиняемый вызывал Аграфену, когда шел убивать жену, и, во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а вышла баба», и упрекал в том жену, в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому, что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных, подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый – человек самолюбивый, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви – значило бы прямо сказать, что он жену не любит потому, что женился сдуру, не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестье в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презиравшим жену, не смогшую до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом – это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, – когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь вымышленную вину, чтоб оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор о жене Аграфене и в решительную минуту при них обеих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.

Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеною Суриною и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить, как добрая, любящая женщина. Напротив, она скорее всего в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности станет дразнить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться – два года водил, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу,

да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшною тайною. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! Я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же душу Лукерьи загубил...»

Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив, во что бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем, могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же – разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурина то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя... Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другою женщиною, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.

Заканчивая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для решения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он со всею строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею женою.

* * *

Решением присяжных заседателей Емельянов был признан виновным «в насильственном лишении жизни своей жены, но без предумышления и по обстоятельствам дела заслуживающим снисхождения». Окружной суд приговорил подсудимого Емельянова к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на восемь лет.

По делу об оскотплении²купеческого сына Горшкова

Заседание по делу купца второй гильдии Г. Ф. Горшкова состоялось 19 июня 1873 г. во втором отделении Петербургского окружного суда. Горшков обвинялся в том, что, являясь членом скопческой секты, совратил в нее в 1864–1866 гг. своего малолетнего сына Василия и участвовал в его оскотплении.

Председательствовал на заседании К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищал присяжный поверенный В. А. Кейкуатов.

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему суду предан подсудимый Григорий Горшков по обвинению в том, что, сам не будучи скопцом в физическом отношении, т. е. не будучи лишен своих детородных органов, но принадлежа духовным образом к секте скопцов, вовлек в эту секту своего сына и был не безучастен в его оскотплении. Не скрою от вас, что, приступая к исполнению лежащей на мне обязанности поддерживать это обвинение, я чувствую всю трудность предстоящей мне задачи. Трудность эта состоит не в том, чтобы я сомневался в вашей справедливости, беспристрастии, внимании и, наконец, сознании, что чем опаснее и неуловимее преступление, тем более бдительно общество должно стоять против него на страже. Нет! Трудность эта вызывается тем впечатлением, которое производят вообще дела подобного рода, дела скопческие. Во всех скопческих делах всегда господствует один общий элемент – элемент скрытности. Ничто здесь не высказывается вполне, обо многом умалчивается или не договаривается, благодаря недомолвкам концы легко прячутся в воду, и правосудию приходится распутывать их с большим трудом, борясь со множеством препятствий и имея пред собой свидетелей, которые не лгут прямо, но никогда не говорят прямо и правды. Это свойство скопческих дел существует и в настоящем случае. Если бы пришлось характеризовать большую часть показаний, данных пред вами, то можно смело надписать на них только одни слова: «не знаю», «не помню». Все ничего не знают, все ничего не помнят, начиная от госпожи Горшковой, которая не помнит, смотрела ли она, от чего страдает и погибает 11-летний мальчик – ее сын, и заканчивая Горшковым, который не знает, сколько его сыну лет и когда он родился. Везде «не помню», везде «не знаю»...

Но эта трудность не помешает нам, отбросив всю массу ненужного материала, остановиться на трех существенных вопросах и, разрешив их в том или другом смысле, или оправдать, или обвинить Горшкова. Я думаю, что его надо обвинить, так как ответы на эти вопросы должны быть в пользу обвинения. Вопросы эти следующие: 1) мог ли Горшков не знать об оскотплении своего сына, могло ли совершиться такое оскотпление совершенно без его ведома, и справедлив ли рассказ сына Горшкова, что его оскотпил солдат Маслов? 2) существует ли между Григорием Горшковым и скопчеством известного рода нравственная связь или Григорий Горшков с тем же естественным чувством безглицности отворачивается от этой секты, с каким, по словам его жены, он отворачивался даже от своего сына? и 3) если между Григорием Горшковым и скопчеством есть нравственная связь и если без его ведома не могло совершиться оскотпление его сына, то не было ли тут его содействия или участия, не он ли вовлек сына в скопчество и способствовал оскотплению его?

Прежде, однако, чем разрешить эти вопросы, я считаю нужным указать на две особенности настоящего дела и в кратких словах изложить пред вами сущность скопчества. Первая особенность та, что пред вами человек не оскотпленный, и потому, естественно, в вас может

² Скопцы – лица, подвергшиеся полной или частичной стерилизации. Скопчество в дореволюционном уголовном праве составляло преступление, относящееся к группе «религиозных посягательств», и каралось особо сурово. С конца XVIII века начинаются массовые судебные процессы, направленные против скопцов, вследствие чего большинство из них переселилось в Румынию.

возникнуть сомнение, каким же образом не принадлежащий к скопчеству физически может явиться его распространителем? Другая особенность этого дела та, что пред нами нет потерпевшего от преступления. Быть может, если бы пред нами был молодой Горшков, многое было бы в этом деле для нас ясно. Поэтому – и для выяснения значения этих особенностей необходимо прежде всего взглянуть поближе на скопчество.

Я не сомневаюсь, что вы знаете в общих чертах, что такое скопчество. У всех из нас сложилось о нем понятие как о таком учении, следствием которого бывает нравственное и физическое искажение человека, доведение его до того физического и морального убожества, в каком вы видели здесь некоторых свидетелей. Но нужно обратиться к сущности этого учения. Скопчество развилось исключительно в России. Как прочно организованная секта оно существует только у нас. Бывают отдельные случаи оскпления и в Европе, но они являются или как способ, безжалостный и жестокий, создать особые голосовые средства у того, кого подвергают в малолетстве этой преступной операции, или как восточный обычай евнушества, тесно связанного с восточным рабством. Как учение скопчество существует только в России. В нашем отечестве, при господстве православной веры, существует, однако, целый ряд самых разнообразных сект или учений. Одни из них отличаются только обрядовой стороной от строго православного исповедания, а в существе правильно относятся к учению церкви и евангелию. Но некоторые из учений, несомненно уклоняясь от правил церкви и искажая истинный смысл евангельского учения, доходят до совершенно дикого отрицания существенных и основных законов природы. Такого учения держится преимущественно скопчество. Это – даже не исключительно религиозное, а противообщественное – учение возникло впервые и стало проповедоваться в конце прошлого столетия Александром Шиловым, который подвергся наказанию и погребен в Шлиссельбурге, где могила его считается скопцами священным местом. Как систематическое учение, как секта, правильно организованная и построенная на известных прочных началах, скопчество явилось только в царствование императора Александра I, когда проживал, преимущественно в Петербурге, скопец Кондратий Селиванов, человек неграмотный, но умный, хитрый и обладавший весьма важным свойством для всякого проповедника нового учения – настойчивостью и умением подчинять себе окружающих людей. Исходя из ложно понимаемых им текстов евангелия о соблазняющем оке и о том, какие бывают скопцы, толкуя их не в связи с остальными местами евангелия и извращая их слишком узким материальным толкованием, он учил, что человечеству было указано учением Спасителя не нравственное совершенство духа, а грубое искажение тела, как средство борьбы с грехом, что Спаситель осветил путь исправления человечества именно таким образом. Он учил, что этот надлежащий путь исправления состоит не в восприятии высокого учения евангелия, которое заключается прежде всего в любви к ближнему, а в стремлении уйти от этого ближнего, удалиться и бежать от красоты, от «лепости» и бежать притом не нравственно, не стараясь бороться, а бежать малодушно, физически, посредством изуечения самого себя. Далее Селиванов находил, что все несчастья в жизни происходят от половых побуждений и что их нужно пресечь в самом их корне. Для этого он требовал от своих последователей, чтобы они вели постническую жизнь, не пили вина, не ели мяса, старались удалиться от всякого соблазна, от всякой «лепости» и, постепенно проходя все степени скопческой иерархии, садились бы сначала «на серого коня» и принимали «малую печать», т. е. лишались бы ядер, а впоследствии приобретали «большую печать», т. е. лишались бы вообще детородных органов. Приняв «большую печать», последователи Селиванова становились «убеленными», грех не мог их более коснуться, в них замирала всякая мысль о нем, и они делались «белыми голубями» или «белыми овцами». Это учение, несмотря на все свои противоестественные правила и задачи, нашло последователей. Простота рекомендуемого им способа борьбы с грехом и вечным осуждением, борьбы, не требующей постоянных усилий и напряжения душевных сил, а лишь одной физической жертвы, имела особую привлекательность для робкого ума неразвитых людей. А учение Селиванова было направлено на неразви-

тую массу, которая не может правильно толковать святое писание, следуя только его букве, а не духу. Из этой массы скопчество вербовало большую часть своих приверженцев. В настоящее время последователи Селиванова сплочены в прочную массу, они следуют наставлениям своего учителя, для них этот учитель составляет верховного главу, наместника бога, «Искупителя». Для них он почти заменяет Христа, для них лик божественного страдальца, проповедовавшего живую, всепрощающую любовь к своему ближнему, отошел на задний план. Христос не вполне исполнил свою задачу, говорят они; Селиванов – вот настоящий Христос, он не только царь небесный и искупитель, но – и на этом отразилось стремление русского народа в конце прошлого века создавать самозванцев – он вместе с тем и император Петр III, который скрывался от преследований под именем Селиванова. Как император Петр III и как батюшка-искупитель, он соединял в себе высшую духовную и светскую власть. Правда, Селиванов был преследуем, последователи его гонимы, но придет время, когда он вернется на землю к своим «детушкам» и водворит скопческое царство на Руси. К Селиванову сводится вся история скопчества, с него она начинается и в его жизни черпает свой главный материал. У скопцов нет священных книг, а все передается на словах. От Селиванова, от его имени, от его страданий, подобно лучам, расходится ряд стихотворных легенд, так называемых «распевов», в которых Петербург прославляется как Сион, как «святой пресветел град», Селиванов – как мученик, пострадавший за веру, и которые поются на сходбищах скопцов, называемых радениями.

В чем состоят эти радения – это долго описывать в подробности. Главным образом они заключаются в том, что эти люди, так ложно понимающие жизнь и ее требования, сходятся вместе, одеваются в длинные халаты, зажигают свечи и под пение распевов, в которых воспеваются «страды» Селиванова, начинают быстро вертеться в одиночку, сходитьсь накрест, двигаться плечом к плечу, кружиться рядами и приходить, наконец, в сильнейший экстаз. Вертясь все быстрее и быстрее, они впадают в полубессознательное состояние, пот льет с них ручьями, развевающаяся одежда иногда даже тушит свечи и тогда, посреди всеобщей усталости и полного душевного опьянения, кто-нибудь один из сильно возбужденных радеющих начинает изрекать бессмысленную связь слов, с механическим подбором рифм, что и составляет пророчество. Это состояние опьянения сами скопцы описывают очень характеристично: «То-то пивушко, – говорят они про радение, – человек и не телесными устами пьет, а пьян живет».

Внутреннему содержанию скопчества – странному и дикому – соответствует обрядовая сторона, выражающаяся и в радениях, и в известного рода обычаях и символах, составляющих неразлучную принадлежность замкнутого скопческого жития. Ему соответствует, к сожалению, в большей и высшей степени и вся личная жизнь скопца. Известно, что природа не прощает нарушения своих законов, и давно уже высказана та истина, что человек главным образом потому несчастлив, что забывает про законы природы. Это выражение всего более применимо к скопцам. Вслед за оскотлением начинается изменение оскотелых в физическом отношении: они хиреют, в них перестает обращаться с прежней живостью кровь, лицо делается бледным и опухлым, в движениях видны бессилие и усталость, отсутствие аппетита, прекращается всякая растительность на бороде и усах, – одним словом, является совокупность тех признаков, которыми, по общему народному убеждению, характеризуется личность скопца. Поэтому мне незачем описывать тип скопца, он слишком известен, он слишком определенный тип, чтобы нуждался еще в каком-либо описании. Произведенные в последнее время исследования над физическим состоянием скопцов, преимущественно нашим известным ученым Пеликаном, показали, что даже самые кости скопца изменяются под влиянием оскотления, совершенного в ранних годах, что они приобретают размер, гораздо ближе подходящий к костям женщины. Вообще, приближаясь по своему виду к женщине, вместе с тем скопцы утрачивают и все хорошие свойства мужчины. Таким образом, в них исчезает мужество, прямодушие, энергия, но при этом они не приобретают и хороших женских свойств: в них нет ни мягкости характера, ни нежности, ни горячей любви, а все заменяется сухостью в обращении, крайней черство-

стью, отчуждением от людей, сознанием, что все остальные люди им чужие, что все они стоят не на надлежащей дороге, сознанием, что они отделены от всех людей непроницаемой стеной и что только в помыслах об искупителе Селиванове они могут находить утеху. Среди «труждающихся и обремененных», наполняющих общество, в котором живут скопцы, они стараются приурочивать себя к такому делу, при котором без особого труда получают возможность забирать в руки людей нуждающихся и – копить деньги, одну из немногих утех, оставшихся им в жизни. Занятие их – преимущественно меняльная торговля и биржевые операции. Вы, конечно, знаете, что занятие меняльной торговлей принадлежит, в глазах народа, к одному из присущих скопцам признаков. Жизнь их – скучная, мрачная, сухая, черствая, без любви и ее радостей – проходит в занятиях преимущественно меняльной торговлею и в радениях. Но иногда однообразие этой жизни, и, к сожалению, довольно часто, нарушается явлениями радостными, светлыми. Это прием новых членов в секту.

Ни одна секта, как это замечено последователями нравственной стороны скопчества, – и в этом они сходятся с учеными исследователями физической стороны скопчества, – ни одна секта не отличается таким страстным стремлением к вербованию себе адептов, ни в одной секте не существует такой радости, такого стремления пожертвовать всем, чем можно, чтобы только приобрести лишнего человека и отнять его у действительной жизни. Для этого скопцы не останавливаются ни пред чем: обещания, ласки, подкуп взрослых, угрозы и насилия над малолетними и в широком смысле пользование невежеством, неграмотностью, бедностью народа – все это пускается в ход и служит для того, чтобы завербовать себе новых товарищей по увечью. Эта-то сторона скопчества и представляется самой главной и опасной. До сих пор не определено, да трудно и определить, что руководит скопцами в этом отношении. Едва ли можно думать, что одно только желание приобщить других к предполагаемому «скопческому» вечному блаженству заставляет их приобретать сообщников. Я думаю, и этого же мнения держатся многие исследователи скопчества, что здесь кроется болезненное желание видеть около себя побольше таких людей, как они сами, с которыми бы можно было разделить тягости своего существования, разделить это отсутствие всяких радостей, эту бесцветность жизни. В таких случаях, как я сказал, скопцы выказывают замечательную деятельность и обыкновенно выделяют из себя известную группу людей, которые преимущественно занимаются подобного рода делами. Для того, чтобы явиться распространителем скопчества, чтобы привлекать в скопческую ересь возможно большее количество людей из мира, нельзя быть скопцом вполне; от скопца всякий будет сторониться. Скопец не может, по самому существу своему, по своей отчужденности от мира, представить так живо, так заманчиво все прелести скопчества, сопоставив их с огорчением, причиняемым житейской «слепотой», не может указать так ясно на тот вред, на ту опасность, которую представляет женщина. Для этого нужен человек, который сам ставил бы в таком опасном положении, – такой человек с большей энергией будет обращать в скопчество, такой соевратитель подвергнется меньшей опасности, если он будет открыт, потому что всегда естественнее и предполагать, что принадлежащей к секте хочет распространять ее. Но когда он является неоскопленным, тогда власть невольно призрадается, – явится мысль, что если человек сам не вкусил скопчества, то зачем он будет совращать других в эту ересь? Наконец, попадают в эту организацию по большей части люди бедные. Приобщаясь к скопчеству и получая на руки деньги, эти люди могут быть весьма полезными распространителями печального учения. Они неоскоплены, энергии у них поэтому много, они бедны, и потому деньги могут послужить хорошим орудием для обращения их в рабство, во имя и во славу «батюшки-искупителя». Мне могут сказать, что это только предположения. К сожалению, это не предположения. Я думаю, что сам защитник не откажется подтвердить, что на эту сторону указывают все исследователи скопчества. Наконец, лучше всего указывает на это самая жизнь. Мы знаем, что скопчество располагает не только агентами, которые далеко не все бывают оскоплены, но мы знаем, что даже глава современного скопчества, который по

влиянию равняется почти с Селивановым, который был его преемником в этом отношении, известный моршанский купец Плотицын, скопивший миллионы, державший в своей власти целый уезд, глубокий и систематический распространитель скопчества, при освидетельствовании оказался неоскопленным. При обсуждении скопческих дел всегда нужно иметь в виду, что в среде скопчества бывают лица, которые, вполне разделяя это учение, страха ради иудейского или по телесной слабости, не решаются оскотиться, но делаются только ревностными и хорошими проводниками скопчества, и они-то и представляются наиболее опасными членами этой секты.

Я закончил тот необходимый краткий очерк, который хотел вам представить. Он, конечно, не полон, но основные черты его, смею думать, верны. Мне, однако, думается, что необходимо обратиться еще к одной мысли, которая, может быть, будет высказана в нашей среде, господа присяжные, при всестороннем обсуждении настоящего дела. Могут сказать, что преследование сект, подобных скопческой, является нарушением свободы совести, что у человека, как бы он ни был связан с государством, как бы тесно ни соприкасался с обществом, в котором живет, должна быть известная область душевной свободы, в которую никто не имеет права заглядывать и не должен вторгаться, область, вступая в которую общество и государство должны складывать оружие и являться, в крайнем случае, только наблюдателями. Могут сказать, что человек волен бороться с греховными побуждениями теми средствами, которые ему кажутся наилучшими, лишь бы они не затрагивали интересов других людей. Но, господа присяжные заседатели, если бы дело шло о преследовании тех 58 чухон³, о которых говорилось в прочитанных здесь письмах Горшкова, тех, которых неразумие, невежество, нищета, бедность, скудость природы и тяжкие семейные условия толкнули на скопчество, которые сами не ведали, что творят, давая себя оскотить, то эти соображения могли бы иметь место как призыв к особому снисхождению к жертвам фанатического заблуждения. Если бы дело шло о зрелом человеке, который сознательно и свободно, обдуманно и спокойно, по чувству искренней веры, оскотил себя, можно бы говорить об этой неприкосновенной области и спорить относительно ее границ. Но там, где дело идет о распространении скопчества, о сознательном вовлечении в эту секту слабых людей, придавленных судьбою или не обладающих здравым разумением, там слово «свобода совести» является только громким словом, которым можно злоупотреблять без всякой пользы для разъяснения дела. Притом скопчество вовсе не является исключительно религиозным учением, противным православию. На это уже достаточно указывает то, что оно одинаково распространяется не только между православными, но и между лютеранами – финнами. Оно является, по способам своего распространения, по среде, в которой оно вербует своих вольных и невольных приверженцев, учением противообщественным. Нам известно, что христианство у скопцов на заднем плане, напротив того, отчуждение от ближнего, отпадение от общества, отрицание семьи, которая есть основание общества, – вот, что стоит на первом плане. Это учение скорее всего направлено против общества, а не против религии.

Посмотрите, среди кого распространяется скопчество, на кого оно старается действовать. Опять я сошлюсь на этих 58 чухон, дело о которых разбиралось в Петербургском окружном суде два года назад. Вы знаете ту унылую, суровую и скудную природу, среди которой живут эти люди: кочковатые болота, кривые березы, мхи, жалкий климат – все это при экономической подавленности и неразвитости, при вопиющей нередко бедности ложится на них тяжелым бременем, делает их жизнь горькой. И вот тут, где религиозное развитие слабо, где семья скорее тягость, чем утешение, является скопчество. Но разве оно рисует им лучшую жизнь и счастье? Нет, нисколько. Да этого и не нужно! Зачем говорить о будущем, каким его представляет Селиванов, а не прямо указать на те средства, которые можно получить, если перейти в скопчество, на возможность получить лошадь, корову, на возможность жене одеться, детям не

³ Чухна – название эстонца или финна, проживавших в окрестностях Петербурга.

голодать. И вот совращение совершено. Затем посмотрите на другую среду, в которой распространяется скопчество. Это – дети, существа, которые зависимы, неразвиты, нередко ничего не понимают. Они в полной зависимости от родительской власти, особенно при тех условиях, в которые поставлена родительская власть в низшем слое населения. Можно зачастую совершенно безопасно и невозбранно насиловать их, вовлекая в скопчество и губя их еще не сложившуюся жизнь. Вот почему, я полагаю, что не в самооскоплении, не в принадлежности к скопчеству, не в этой жалкой приверженности к скаканию и пению рифмованного набора слов состоит зло скопчества, а в его силе распространения, в стремлении его вербовать... Это и не мой только личный взгляд. Наше высшее судебное учреждение, Кассационный Сенат, обратил внимание на скопческую секту, и вот как он о ней говорит: «Государство не может допускать организации обществ, употребляющих для достижения своей цели средства, противные нравственности и общественному порядку, хотя бы такие общества и прикрывались религиозными побуждениями; в скопческой же ереси ясно преобладает противообщественный элемент, а элемент религиозный представляет совершенное извращение не только православия, но христианской веры вообще». Ввиду этих слов высшего судебного учреждения, ввиду тех условий скопчества, на которые я указал, мне кажется, что возражение, будто распространению скопчества не надо полагать твердых пределов, не имеет правильного основания. Обращаюсь собственно к существу настоящего дела.

Первый вопрос по существу дела заключается в том, мог ли Горшков не знать, что его сын оскотлен? Можно ли было это сделать без его ведома, и справедлив ли рассказ его сына? Полагаю, что рассказ этот совершенно несправедлив. Разберем, в чем он состоит, кстати, разберем и рассказ матери. «Пошли на богомолье, отстал, подошел неизвестный солдат, предложил пряник, я съел пряник, упал без чувств, проснулся – отрезаны ядра; пошел в Курск, встретил на рынке мать; приехав в Петербург, отцу ничего не говорил, чрез два года поехал в Курск, там судился и, приехав, привез отцу копию приговора». Вот сущность его рассказа. Но стоит немножко вдуматься в операцию оскотления, чтобы понять, что этот рассказ неправдоподобен. Не говоря о том, что то, что рассказывает молодой Горшков курской уголовной палате, невероятно с физической стороны, оно невероятно и с нравственной стороны. Оскотить таким образом человека вдруг, ни с того, ни с сего – это невозможно. Оскотить человека для того только, чтобы оскотить, значит совершить деяние без смысла и цели, даже со скопческой точки зрения. Скопцы стремятся к тому, чтобы приобрести людей, которые сознательно принадлежали бы к скопчеству или, по крайней мере, выросли бы в нем. Поэтому оскотлению чуждою рукою взрослого человека предшествует известное внутреннее соглашение, всегда тот, кто оскотлен, еще до оскотления духовно сливался с скопчеством, но он был слаб, он был нерешителен относительно «принятия печати», и в этом ему помогла посторонняя рука. Если же это дети, то, без сомнения, ряд внушений, приказаний и принуждений предшествует этому акту – бессмысленному и бесчеловечному. Оскотить несчастного ребенка, накормив его каким-то пряником, и затем потерять его из виду – разве не все равно, что отрезать человеку нос или отрубить руку во время сна? Ведь это будет только увечье, которое само по себе не имеет ничего общего с учением скопчества. Посмотрите на эту операцию с физической стороны. Каждому лицу мужского пола известно, как чувствительны половые органы, как мало-мальски сильный толчок в них причиняет жестокие боли, а более сильный может вызвать смерть. Всякое насилие над этими органами должно причинять тяжкие страдания, всякий разрез, произведенный грубо и торопливо, должен произвести сильную потерю крови, привести человека в ужасное нервное состояние, должен почти совершенно парализовать его движения. Сначала человек оскотленный не только не будет мочь идти, но долгое время будет на одном месте истекать кровью и только через значительный промежуток времени будет иметь возможность кое-как двигаться. Между тем мы видим тут ребенка, мальчика, который наутро после оскотления встал и явился в Курск. Он выздоровел так скоро, что чрез две недели, а мать даже

говорила – чрез одну неделю его везут в Петербург, и притом не по железной дороге, а со всеми неудобствами былого времени, в тарантасе⁴ или на перекладной до Москвы. По прибытии его в Петербург там тоже никто не замечает его страданий, никто не видит, что с ним сделалось. Но припомните анатомическое строение половых органов: сколько в них кровеносных сосудов, как чувствительны эти органы. Если уж обыкновенная рана нередко вызывает сильные страдания, сопровождается большим истощением вследствие потери крови и заживает медленно, то рана, нанесенная в такую часть тела, где скопляются кровеносные сосуды, скоро, на другой день, не заживет и не закроется. Поэтому и с физической стороны заявление Горшкова несправедливо. Заявление матери его еще менее правдиво. Эта мать, узнав из слов сына, что его «испортили», не любопытствовала даже узнать, что именно с ним сделалось, не занялась его лечением, не расспросила его, а просто сказала какой-то неизвестной Пелагее Ивановой, которая чем-то и приманивала Василию больное место. Но отчего же по приезде в Петербург она не заявила об этом мужу? Отчего она не заявила никому на месте? Ведь в ней должно было прежде всего заговорить материнское чувство. Ведь тут на первом плане вред, болезнь, горе, причиненное сыну. Тут произошло лишение на всю жизнь одной из существеннейших способностей, и она, женщина в годах, не могла этого не понимать. Она должна была быть лично огорчена и убита всем, сделанным с ее сыном. То, что произошло с ним, в самой вялой и апатичной матери, – если только она мать действительно, – должно было возбудить негодование, слезы... Она должна была идти в полицию, жаловаться, заявить, тем более, что все случилось тут же, около, на месте. Допустим, наконец, что она, как женщина, под влиянием горя, потерялась, не нашла, что сделать. Но у нее есть муж, человек деловой, энергический; он бывший управляющий богатого помещика, который имеет связи, он пойдет к нему, попросит помощи, содействия, заступничества, поднимет на ноги полицию, и тогда разыщут лихого человека, тогда за сына отомстят. Однако она молчит перед мужем. Она, по ее словам, боялась, что он забранит ее. За что же забранит? За то, что неизвестный человек оскотил ее сына, которого оттеснила от нее толпа на крестном ходу. Есть ли тут сколько-нибудь здравого смысла? Поэтому рассказ Горшковой лжив. Но такой рассказ встречается очень часто. Я нарочно здесь спрашивал одного из скопцов о том, как его оскотили, и он нам рассказал такую же историю, которая повторяется всеми: это старая история, но в устах скопцов она всегда остается новою. «Солдат шел... дал напиться... упал... заснул... отрезал... не помню как... проснулся... пошел домой... никому не заявил... боялся...» Рассказ не так прост, как кажется с первого раза, он является результатом определенной системы действия и отражается на целом ряде судебных приговоров старых судов, что доказывает, например, и дело Маслова, на которое я ссылался. Скопцы не могут страдать все за участие в оскотлении того или другого лица, им необходимо сплотиться и держаться крепче друг за друга, для этого нужно принести одну, общую за всех, жертву, выставить кого-нибудь одного из своих, и в этом отношении у них существует особая система действий. Всякий исследователь скопчества, всякий юрист, знакомый с делами старых времен, скажет вам, господа присяжные, что по временам в той или другой местности России, преимущественно в Орловской и Курской губерниях, появлялись люди, которые заявляли, что они оскотлены, показывали на известное лицо, которое иногда даже являлось вместе с ними и принимало на себя вину свершения над ними оскотления. По большей части это бывал какой-нибудь отставной солдат, дотеле питавшийся подаянием. Лицо это сажали в острог, и тогда-то начинали слетаться со всех концов «белые голуби», заявляя, что они были оскотлены, что их оскотил при таких-то обстоятельствах какой-то неизвестный солдат. Обстоятельства эти всегда были одни и те же: «Шел... напоил... оскотил...» и т. д. Им показывали содержавшегося в остроге, и он чистосердечно, иногда со слезами, сознавался, что действительно он оскотил всех

⁴ Тарантас – четырехколесная конная повозка на длинных дрогах (продольной раме), уменьшающих дорожную тряску в длительных путешествиях.

этих лиц. Скопцы эти прибывали целыми массами, так что, наконец, целое стадо этих «белых овец» собиралось вокруг этого злого волка, который их изувечил... Его ссылали в Сибирь, а их, как невинно оскопленных, оправдывали. Эту систему можно с очевидностью проследить по делу Маслова. Оно началось с 1865 года. 16 марта 1865 года к судебному следователю города Курска явились три лица и заявили, что они оскоплены солдатом Масловым; вместе с ними явился и сам солдат Маслов и сказал, что действительно он оскопил этих лиц. Если вы будете перелистывать это огромное, лежащее ныне пред вами, старое дело, то увидите постоянное повторение одного и того же протокола: явился такой-то, заявил, «что оскоплен Масловым, Маслов сознался в том, что действительно оскопил это лицо», затем новоявившегося свидетельствовали, нашли малую печать, отдали на поруки и т. д.

Потом явился другой, третий, и всего набралось – 114 человек!! Их всех в промежуток года с небольшим успел оскопить, по собственному признанию, Маслов... Таким образом, набрав на себя грехи 114 скопцов, он отправился в Сибирь, не пострадав сильнее от этого принятия на себя не одного, а целой сотни оскоплений потому, что наказание за оскопление полагается одно и то же, невзирая на число оскопленных. Все заявившие лица сделались свободными от суда и получили в том удостоверение. В числе этих лиц был Василий Горшков. Людей вроде Маслова было в последние годы несколько. Пред Масловым был в том же Курске Чернов или Черных, на которого, как на оскопителя, сегодня перед вами сослался один из свидетелей скопцов. Он повинился, по вышеприведенному способу, в 106 оскоплениях; Маслова сменил ныне в курском остроге новый великодушный охранитель скопчества – Ковынев. Таким образом, рассказ Василия Горшкова представляется совершенно соответствующим этой системе.

Тех ссылок, которые я сделал на дело Маслова, достаточно для того, чтобы признать, что рассказ Василия Горшкова и матери его несправедлив. Тогда остается один вывод: он оскоплен не Масловым и оскоплен не при матери, в Курске. Но если так, то где же он оскоплен? Ему было 11 лет, он только раз отлучался с матерью в Коренную пустынь, а все время жил в Петербурге, при отце. Нельзя же допустить, чтобы 11-летний мальчик отлучался один на долгое время из Петербурга. Вы слышали из обвинительного акта, что, по словам Горшкова, он первоначально узнал об оскоплении сына тогда лишь, когда сын предъявил ему приговор палаты, т. е. в 1866 году. Здесь, на суде, он изменил это показание и говорит, что он узнал об этом от жены, когда сын ушел с Пелагеею искать «того человека». Это изменение совершенно понятно, потому что иначе ему пришлось бы утверждать, что сын его, 13-летний ребенок, без ведома отца ездил один в курскую уголовную палату для выслушания приговора и дачи показания. Но слишком несообразно с здравым смыслом допустить, чтобы 13-летний ребенок один поехал в Курск выхлопывать себе обвинительный или оправдательный приговор. Василий Горшков все время до получения приговора и потом года три жил в Петербурге, и жил при отце. Это мы знаем из дела и из свидетельских показаний. Но если он не оскоплен в Курске, то он нигде не мог быть оскоплен, кроме Петербурга.

Если допустить, что его оскопили в Курске, то невольно приходится спросить себя, как могло укрыться от отца, что он оскоплен, что он, особенно первое время по приезде из Курска, страдает? Как он мог скрыть это от отца, с которым жил, от тех детей, с которыми бегал, как мог он скрыть это в бане, в которую являлся с отцом? Это невозможно. Он не мог бы скрыть следы заживавшей раны, не мог бы скрыть ту неровную походку, которая присуща скопцам. Мы должны предположить отсутствие у отца его всякой наблюдательности, всякого внимания к сыну, всякого отцовского чувства, когда он не замечает, что у малолетнего сына, при наступлении зрелости, голос не становится мужественным, а дребезжит и делается скопчески-пискливым, когда он не замечает, что вместо того, чтобы, возрастая, румянеть и цвести, сын делается хилым, вялым и худеет, что глаза его не блестят, походка шатка и неровна и, наконец, что у сына нет ни детской веселости, ни шалостей, ни юношеского задора. Всего этого отец не мог не заметить, а если он не мог этого не заметить, то он и не мог не знать, что сын его оскоплен.

Если же мы допустим, что он не мог этого не знать и признаем, что сын был оскроплен не в Курске, то следует признать, что совершить оскропление 11-летнего сына богатого и энергического человека в Петербурге невозможно без ведома этого человека. Как можно, без ведома отца, нравственно оторвать ребенка от семьи и внедрить в него скопческие мысли, как можно оскропить его незаметно, неслышно для отца? Таков ответ на первый вопрос. Притом, мы знаем из показаний Васильева, данных здесь на суде, вдали от майора Ремера, которого он будто бы так боялся прежде, и вблизи от присяги, которой он так боится теперь, что малолетний Горшков проговаривался, что он оскроплен, и говорил что-то такое о распевах и о радениях. Но если он знал о радениях, то, значит, он их и посещал. Но мог ли 12–13-летний ребенок посещать радения, которые бывают ночью, без ведома отца, потихоньку, самовольно? Мог ли отец не знать о том, что сын испытал, что такое радение?!

Второй вопрос состоит в том: чужд ли Григорий Горшков скопческой секте? Действительно ли он относился к ней с тем отвращением, с каким, по словам жены, относился к своему сыну, узнав, что его, оскропили. Я думаю, что если мы посмотрим хорошенько на дело, то найдем в нем несколько таких красноречивых фактов, из которых с ясностью увидим, что этот Горшков, который чуждается скопчества и гнушается родного сына, является ревностным комиссионером скопцов, внимательным корреспондентом их, что он им сочувствует и принимает их судьбы близко к сердцу, одним словом, – лицом, которое в своей деятельности близко подходит к скопцам. Вы знаете историю скопчества. Здесь находится портрет Александра Шилова, который считается предтечей «искупителя» Селиванова. Портрет этот есть святыня скопчества, скопцы его чтут как образ, как предмет священный, и так как у них стараются отбирать подобные портреты, то получение его для своего дома для скопца составляет известного рода ценное приобретение. И вот мы видим, что заказывать такой портрет является Григорий Горшков. Хотя сначала Горшков отрицал это обстоятельство, но потом, когда ему были предъявлены заказные книги, когда Кутилины уличили его в глаза, то он сознался, что заказывал такой портрет. Такой же точно портрет со штемпелем Штейнберга найден в Казанской губернии, в Кадниках, у штурмайского штабс-капитана Неверова. Вы слышали здесь протокол допроса Неверова. Я думаю, что из этого допроса рисуется личность скопца от головы до ног. Тут все скопческое: и его история, которая состоит в том, что на него постоянно и повсюду доносили, что он скопил мальчиков, и в том, что он сам донес на умершую уже мать свою, обвиняя ее в своем оскроплении, и та обстановка, которая его окружает. Эта обстановка очень характеристична: тут и сухие крендельки, тщательно собираемые, которые некоторыми исследователями скопчества считаются скопческим причастием, тут и сухая земля будто бы для протирания очков, тоже внимательно хранимая, тут и всевозможные скопческие картины и книжки, и «распевцы», и выписки из истории скопчества в восьмом томе истории раскола Варадинова, тут, наконец, портрет Петра III, которого скопцы отождествляют с Селивановым... Посреди этой обстановки 70-летний скопец. У этого лица находят портрет Шилова, который, по его словам, он купил в Петербурге в 1850 году, а может быть, и в 1860 году, в какой-то фотографии за 3 руб. серебром, потому что этот портрет ему понравился. Из собственного его показания видно, в какой обстановке он живет, как скупоб обставил он себя, как бережет он разорванный, замасленный кошелек, в который «неизвестно откуда» попала вата и узда. Мы знаем, что он, 70-летний болезненный старик, еще ищет в Казани работы по постройке барж... Неужели такой человек бросит 3 руб. за портрет неизвестного лица? Да и чем же ему понравился этот портрет? Ведь Кутилин очень оригинально говорит, что он взял со Скворцова дорожку, потому что портрет был очень отвратителен! Вы видели портрет и признаете, что особой привлекательности он не представляет. Зачем же, наконец, он пошел в фотографию к художнику Штейнбергу? Почему он знает, что в этой фотографии есть такой портрет? И зачем Штейнберг будет держать для продажи подобные портреты? Много ли таких Неверовых, которым может нравиться такая отвратительная, по мнению Кутилина, картина? Скорей всего

он должен был купить такой портрет потому, что знал, чей он. Но Кутилины говорят, что у них Неверов не бывал и что не Неверов взял портрет, а Горшков. Итак, между Неверовым и Горшковым образуется связь посредством портрета «предтечи» Шилова. Горшков, а не кто-либо иной, мог доставить Неверову этот портрет. Таким образом, Горшков посылает святыню, чтимую скопцами, «ведомому» скопцу Неверову и падает этому скопческому старцу «земно в ноги со всею семьею своею» в то время, когда сын его должен жить вдали от дома, в отчуждении от семьи, потому что Горшков гнушается им, презирая скопцов... Это первое... Далее – Горшков старается оправдаться, указывая на то, что хотя он и заказывал портрет, но заказывал его в качестве снимка, в качестве копии с портрета родственника одного из знакомых своих Леонова и по его поручению. Но это объяснение неудачно. Он ссылается на человека, который умер за год перед этим. Ссылка на мертвого свидетеля всегда есть мертвая ссылка. И затем на кого же он ссылается? Кто же этот Леонов? Тоже скопец. Не странно ли, что человеку, который не имеет ничего общего со скопчеством, даются такие важные поручения, исполнение которых имеет для скопцов особое значение, потому что портретопочитание развито в их секте очень сильно. Не странно ли, что скопец Леонов заказывает чрез Горшкова портрет своего родственника и портрет этот находится у скопца Неверова, который состоит в постоянных сношениях с Горшковым? Почему скопцы собираются в лавку к Горшкову и, смотря на портрет, говорят: «Да, это он!» Почему у него сходится это общество и устраивается эта временная выставка священной картины? Ведь он ничего общего с скопцами не имеет. Он говорит, что его сталкивали с ними торговые дела. Да, но когда человек сталкивается с другими – ему ненавистными – людьми вследствие торговой деятельности, то он ею только и ограничивается. Ведь не торговые дела заставляют Горшкова посылать портреты и не по торговым делам он ездил в Константинополь и переписывался с Неверовым. Да и какие торговые дела мог иметь он с бедным отставным штурманом, проживающим в Кадниках? Итак, Горшков окружен скопцами, он является исполнителем их поручений, не простых, как, например, покупка сахара или отсылка 10 руб., а таких поручений, как воспроизведение и отсылка скопческой святыни. Что Горшков знал, что это действие даже не совершенно безопасно, это нам также известно. Он сделал выговор госпоже Кутилиной, когда она приехала к нему получать деньги, заметив ей, что нельзя посылать такую важную вещь с кем-либо, а когда этот человек принес ему накануне портрет, то он сказал, что ничего не заказывал и что если госпожа Кутилина имеет до него какое-нибудь дело, то пускай сама приедет к нему.

Таким образом, Горшков является исполнителем опасных, по-видимому, поручений скопцов и, следовательно, сам подвергается из-за них опасности, из-за них – из-за губителей своего сына! Посмотрите на его письма. Они чрезвычайно характеристичны, везде в них проглядывает рабское отношение к «почтенному старцу» Неверову; в них Горшков не просто сообщает новости, а доносит о положении дел. Как истинный последователь скопчества, он говорит в них далеко отсутствующему скопческому старцу, что «предстоит перемена погоды и очень скоро, потому что в Москве дела худы, а у нас пока спокойно, но бог знает, что будет дальше; вот в Царском Селе 65 чухон осудили старых и малых, добра ожидать нечего». Наконец, он сообщил, куда он ездил: «Ездил в Одессу, Киев и дальше, побывал и в Константинополе, чтобы посмотреть на тех людей, на тот конец, если кому из наших придется там жить». Кто же это те люди? Мы знаем, что в Молдавии и Валахии⁵ есть колонии русских скопцов, что еще в прошлом году в газетах писалось о том, какое негодование возбуждало в румынском народе распространение скопчества в его среде. Время поездки и краткость его ничего не значат. Чтобы посмотреть, как живут, не нужно изучать все подробности. Если кто-нибудь из близких живет в другой стране, то не для чего узнавать все подробности его быта, а достаточно воспользоваться иногда проездом, задать при кратком свидании вопрос: «Что, братия, как

⁵ Валахия – историческая область на территории Румынии, между Карпатами и Дунаем.

живется, хорошо ли, легко ли, свободно ли?» И если братия единомысленна, то и краткий ответ с ее стороны будет удовлетворителен. Что хорошо для тех людей в Румынии, то будет хорошо для тех же людей, которые, в случае надобности, придут из России. Итак, господа присяжные заседатели, вот каков Горшков в отношениях своих к скопчеству. Затем следуют некоторые побочные признаки принадлежности к секте, мелкие, почти неуловимые, как, например, неупотребление мясной пищи, о чем единогласно говорили свидетели, как вы слышали из их показаний, прочтенных перед вами. Если вы взглянете на этот дом – безлюдный и мрачный, – где никогда не едят мяса, где служат сестры скопцов, где прозябают придавленная страхом и трепетом жена и оскропленный сын – и в пользу хозяина которого являются свидетелем с своим вечным «не помню» и «не знаю» свидетели, все служащие у него, – то, быть может, вы признаете существование скопческого оттенка и на внутреннем быте Горшкова.

Ответ на второй вопрос, мне кажется, может быть только один. Горшков тесно связан со скопчеством, он сочувствует ему, боязливо следит за его судьбой и находится в тесных, живых и прочных сношениях со скопцами. Верный исполнитель их важных поручений, он служит в своих письмах для отсутствующих скопцов точным барометром, который показывает, когда на скопческом небе «облачно» и когда предстоит «перемена погоды». Комиссионер, корреспондент и друг скопцов, меняла по занятиям, он в то же время отец сына, оскропленного в малолетстве...

Теперь остается разрешить третий вопрос. Если этот человек таков, каким он представляется по его действиям, то могло ли оскропление его сына произойти без его ведома и содействия? Если рассказ сына об оскроплении, как я старался доказать, ложен, то подсудимый знал, как был оскроплен его сын. Если бы он не был скопец в душе, то он навсегда бы с негодованием отвернулся от окружавших его скопцов. Если в один прекрасный день малолетний сын Горшкова, постоянно проживавший при отце в Петербурге, оказывается оскропленным; если рассказ его об оскроплении неправдоподобен; если отец его не ропщет, не жалуется, не негодует на то, что его сын навеки «испорчен»; если он поддерживает тесную связь с лицами, из среды которых вышли губители его сына; если, нимало не заботясь о судьбе исчезнувшего сына, он так интересуется теми людьми и скорбит о предстоящих скопчеству опасностях, то мы можем сказать, что этот человек пожертвовал своим сыном для скопческого дела. Для этого, для такого содействия скопчеству вовсе не нужно самому приложить нож к телу сына – это было бы слишком ужасно, – достаточно, пользуясь своим отеческим положением, обещаниями, ласкою, угрозами, гневом подействовать на слабую, неопытную натуру мальчика, подчинить его бессознательную волю своей воле и предать его скопцам, готового и нравственно убежденного для принятия малой печати, ни значения, ни последствий которой он не мог понимать! Таким образом, я думаю, что одного этого свода соображений было бы достаточно для признания Горшкова виновным в совершении сына своего в скопчество и в содействии его оскроплению. Но есть еще другое обстоятельство, подтверждающее то же обвинение. Сын Горшкова исчез, и где он находится, неизвестно, исчез бесследно, быстро. Но когда же он исчез? Вскоре после его оскропления, после лечения? Нет, он жил после этого с отцом и ежедневно бывал в его лавке восемь лет, не думая исчезать. Он исчез в то время, когда в начале марта прошлого года у судебного следователя по особо важным делам, по сообщениям, которые были получены им из разных мест, началось дело о скопцах. Дело это принимало широкий размах, и Горшков не мог не сознавать, что и ему может грозить опасность; его имя еще не упоминалось, но вот-вот оно упомянется. Между тем известный исследователь скопчества – следователь Реутский разъезжал по всей России, сосредоточивая воедино скопческие дела, и был у Неверова, производил у него обыск. При тех постоянных сношениях, в которых находятся скопцы между собою, Горшков, конечно, знал об этом, знал о портрете Шилова, мог предвидеть, что его спросят, – возьмутся за его оскропленного сына и в нем, пожалуй, найдут грозного обличителя отца... И вот сын его начинает, с начала следствия, отлучаться подолгу из дому, не ночуя и где-то скитаясь,

а, наконец, тогда, когда Горшкова 8 апреля призывают к допросу, когда его привлекают к делу, сын его исчезает. Но отчего же он исчезает? Разве он боится за себя, что и его привлекут? Ведь он оправдан, его оскотил Маслов, он несчастный, а не виновный человек. Следовательно, за себя ему бояться нечего и не себя он спасает своим бегством, своим исчезновением из Петербурга и, вероятно, из России. Он был спасаем, может быть, против воли. Кому интерес в его исчезновении? Интерес его отцу, потому что когда не будет этого человека, тогда можно во многом не сознаваться; когда не будет того, который в отчаянии мог сказать на суде своему отцу: «Да, благодаря тебе меня оскотили, ты увлек меня такими-то обещаниями, такими-то угрозами» и т. д.; когда на суде будут только одни бескровные, бледные фигуры явных и тайных скопцов и скопчих; когда они будут только говорить «не знаю», «не помню» – тогда Горшкову будет легче оправдываться, чем при сыне, которого скопческий вид тяжким укором ляжет на нем. Поэтому исчезновение, бесследное, неожиданное и совпадающее с началом дела о Горшкове, является новою против него уликою.

На основании всего, что я изложил пред вами, господа присяжные заседатели, я обвиняю Горшкова в том, что он совратил своего сына в скопчество и содействовал его оскотлению.

В заключение мне остается сказать только несколько слов. Говорить о важности преступления распространения скопчества мне нечего. Всякое вредное заблуждение важно; когда же это вредное заблуждение распространяется человеком, у которого в руках относительно детей власть родительская, а относительно прочих слабых духом, несчастных, голодных и неразвитых людей, которые его окружают, власть денежная, то оно становится не только важным, но и опасным. Защищая своих слабых сочленов, общество должно ставить такому заблуждению препоны. Говорить о нравственной стороне настоящего дела тоже едва ли нужно. Я думаю, господа присяжные заседатели, что вы, люди практической жизни, легко себе представите, что должен чувствовать тот человек, у которого в самых молодых годах отнята надежда на жизнь сообразно с законами природы. Вы поймете, как тяжела судьба человека, который искалечен и нравственно, и физически, и притом помимо ясного и свободного желания, для которого нет уже возврата назад, нет возможности исправить нанесенный ему вред и который может только оплакивать свое несчастье. Я полагаю, что вам станет ясно, какое злое дело совершил Григорий Горшков над своим сыном.

Он искалчил его природу, он отторгнул сына от людей, он вложил в его сердце скопческое отвращение от всего живого. Он лишил сына семьи и ее чистых радостей, он отнял у него то, чем, однако, считал себя вправе сам обладать: отнял счастье быть отцом. Разбив его будущность и обезобразив тело, он пустил его на одинокое и безвестное скитание...

Человек, который все это сделал, пред вами, господа присяжные заседатели, и вам предстоит решить его судьбу...

* * *

Защитник, возражая на доводы прокурора, в своей речи обратил внимание суда и присяжных заседателей на следующие обстоятельства:

1) большой промежуток времени (9 лет) между совершением преступления и началом дела усугублял недостаток данных, на которых можно было бы построить обвинение;

2) согласно разъяснению кассационного департамента Сената закон преследует только за распространение скопчества, за совращение в оскотление других и за самооскотление, но не за принадлежность к скопчеству;

3) принадлежность Горшкова к скопческой секте является «духовной», что не карается законом;

4) неупотребление мяса и замкнутый образ жизни не обязательно свидетельствуют о принадлежности к скопчеству.

Защитник пришел к выводу, что человек, не принадлежащий к скопческой секте, никогда не принесет в жертву своего собственного сына, а если он и принадлежит к секте, то это еще не значит, что он участвовал в оскотлении.

Решением присяжных заседателей подсудимый был признан невиновным.

По делу о лжеприсяге в бракоразводном деле супругов Зыбиных

14 мая 1873 г. в первом отделении Петербургского окружного суда с участием присяжных заседателей слушалось дело о лжеприсяге, данной при расторжении брака супругов Зыбиных.

Суду были преданы Владислав Залевский, Александр Гроховский и отставной коллежский секретарь Генрих Хороманский. Первые два обвинялись в том, что под присягой дали в суде ложные показания, будто бы в феврале 1870 г. видели в номере гостиницы «Роза» жену Зыбина и неизвестного мужчину прелюбодействовавшими. Хороманский обвинялся в том, что подготовил Залевского и Гроховского к ложному показанию.

Подобные судебные разбирательства не являлись в царской России единичными, так как бракоразводный процесс был сложным, затяжным и дорогим, а действовавшее законодательство о разводе не регулировало имущественных вопросов (женщина, добивавшаяся развода, теряла право на содержание).

Дела о разводе рассматривались в консисториях⁶, решения утверждались архиереями. С 1805 г. все дела о разводе обязательно должны были поступать на ревизию в Синод. Прелюбодеяние признавалось одним из главных поводов к разводу, причем виновный осуждался на вечное безбрачие, даже после смерти другого супруга, в связи с чем при бракоразводных процессах стали довольно часто прибегать к услугам лжесвидетелей, как это было и в настоящем деле.

Заседание проходило при открытых дверях. Председательствовал на нем К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищали А. М. Унковский и Р. Н. Аршеневский; поверенным гражданской истицы был присяжный поверенный В. Н. Герард.

* * *

Господа судьи! Господа присяжные заседатели! Вам предстоит рассмотреть дело, выходящее из ряда вон как по трудности своего возникновения, так и по некоторым своим особенностям. Подобного рода дела редко доходят до суда. Преступление, о котором идет речь, обставляется обыкновенно так, что становится очень трудноуловимым. Поэтому в том, что подобное дело дошло до суда, уже надо признать некоторую предварительную победу правосудия. Кроме того, при производстве подобного дела, в большей части случаев, свидетели наносят в него такую массу грязи, что трудно отличить настоящие обстоятельства его от тех, которыми оно загрязнено и искажено.

Действительный статский советник Зыбин, будучи в разлуке с женой и находя, что она не исполняет своих супружеских обязанностей и, будучи его женою по закону, давно уже не дарит его тем счастьем, на которое он имел право рассчитывать, вступая в брак, решил развестись с нею. Он приехал для этого в Петербург, нашел здесь людей, которые согласились оказать ему юридическую помощь в начатии дела в консистории и нравственную помощь для его ведения. Он нашел людей, которые с благородной откровенностью показали все, что могли, в защиту чести господина Зыбина. Благодаря им семейная честь его была близка к восстановлению и дело шло естественным и спокойным чередом. Вдруг положение его изменилось. Сначала к делу стала присматриваться власть прокурорская, затем его взяла в руки власть судебная, и, наконец, оно перешло из мирных стен консистории в стены суда. При этом стало оказываться,

⁶ Духовная консистория – учреждение епархиального управления и духовного суда Русской православной церкви, непосредственно подчиненное епархиальному архиерею и подведомственное Святейшему Синоду.

что скорее всего речь идет о восстановлении чести уже не господина Зыбина, а госпожи Зыбиной и что господа свидетели свидетельствовали так, что при предварительном следствии их пришлось даже отвлечь на некоторое время от их мирных занятий и лишить свободы. Свидетели поняли свое новое положение. Они заявляют перед вами, что весь настоящий процесс есть плод недоразумения, плод губительной для них ошибки. Они надеются на ваше оправдание. Этого взгляда их не разделяет обвинительная власть и полагает, что пред вами находятся люди, к которым весьма применимо меткое название «самых достоверных лжесвидетелей». Для разрешения вопроса о том, насколько справедлив такой взгляд, я обращаюсь к их показаниям.

Для того, чтобы определить, что известное лицо говорит на суде ложь, необходимо прежде всего рассмотреть его показание по существу, посмотреть на обстановку, в которой оно дано, и главным образом на то, каким порядком оно создавалось. Посмотрим на общее показание подсудимых по существу.

Прежде всего я полагаю, что оно ложно по месту, которого касается. Я не стану напоминать вам той грязной картины, которую нарисовали в своих показаниях подсудимые, я напому только, что, по показанию их, они застали в гостинице «Роза» в блудном действии с мужчиной женщину, которую один из них признал за госпожу Зыбину. Дело происходило в особых номерах. Назначение этих номеров понятно, да к тому же его обстоятельно выяснил свидетель Красавин, который служит в них коридорным. По его показанию, они служат преимущественно для гостей, которые приходят «парою», которые хотят быть прежде всего в уединении, в безопасности от посторонних взоров. Устройство гостиницы вполне соответствует ее двоякому назначению. Те, которые хотят удовлетворить свой аппетит, идут в общие комнаты. Но те, которые приходят с другой целью, переходят площадку, на которой встречаются с запертой дверью. Оно и понятно, что дверь заперта: нельзя, чтобы всякий ходил по коридору, в расположенных вдоль которого номерах люди ищут уединения. Затем каждая дверь номера тоже заперта. Опять это понятно: нельзя входить, когда там могут быть посторонние, — и прислуга твердо соблюдает это правило. Она ходит каждый раз за ключом в буфет, затем отпирает дверь номера и вставляет ключ изнутри в дверной замок. Таким образом, даже со стороны прислуги, менее заинтересованной в личном спокойствии посетителей, чем они сами, существует красноречивое указание на осторожность: она оставляет ключ с внутренней стороны номера и этим как бы говорит: «Запирайтесь!» Другого хода нет в номера, другим путем не пройти в коридор, так как сообщение снизу существует только через двор. И вот в такое-то место, при такой обстановке, в один прекрасный вечер являются Залевский и Гроховский. По их словам, они не находят в общей комнате места. Но ведь они пришли только закусить; это доказывается тем, что они все-таки вернулись к буфету, выпили там водки и закусили. При буфете же место для закуски всегда бы нашлось и без напрасных путешествий в номера. Если же они шли не закусить, а основательно поужинать, то зачем же, выйдя из гостиницы «Роза», столь переполненной народом, они не пошли в многочисленные окрест лежащие рестораны, кофейные и кондитерские? Но тем не менее, и вопреки показанию буфетчика, они не находят, как видно из их объяснений, местечка даже и у буфета. Тогда они свободно проходят в коридор, и один из них отворяет дверь номера. Здесь существует в показаниях подсудимых разногласие: один из них, Гроховский, в показании, данном в консистории, говорит, что видел свет из-под двери, другой же, Залевский, говорит, что никакого света не видел. Я думаю, что ни то, ни другое обстоятельства не служат в пользу подсудимых. Если они видели из-под двери свет, то должны были понять, что незачем быть свету в пустых номерах, следовательно, там кто-нибудь есть и потому идти туда нельзя. Если же они не видели света, то понятно, что, как только дверь была отворена на полдюйма, они должны были увидеть свет и тотчас ее запереть, не входя. Но ничего этого не случилось. Несмотря на увиденный ими свет, они вошли в номер и пробыли в нем настолько долго, что могли внимательно осмотреть обстановку комнаты: они рассмотрели и кровать, и женщину, и нагоревшую свечу, и даже одиночное драпри, хотя свидетель Красавин

показал здесь, что в номерах гостиницы «Роза» одиночных драпри нет. Затем, увидевши, что они неуместные гости, они уходят из номера и возвращаются к буфету. Кого же они видели? Они говорят, что видели госпожу Зыбину. Вглядитесь, господа, в обстановку этой встречи. В трактире, в номерах, в положении крайне свободном, они видят, по их мнению, личность, которую решаются потом назвать по фамилии, госпожу Зыбину. Но ту даму, которую Залевский принял в гостинице «Роза» за госпожу Зыбину, он видел перед этим в ложе Большого театра с семейством, он знал, что она дочь известного господина, в свое время очень богатого человека, получившая хорошее воспитание и образование светская женщина. Как же не пришло обоим подсудимым в голову в то же время и прежде чем сообщить о виденном, сначала в виде анекдотов и шуток, а затем уже и не в шутку в присутственном месте, как же не пришло им в голову, что тут должна быть грубая ошибка, что это не Зыбина, что ни общественное положение, ни воспитание не позволяют ей искать уединения в незапертом номере гостиницы «Роза»? Как не подумали они, что, живя в Петербурге одна, она всегда может найти себе более удобное помещение, чем «Роза», что она едва ли, придя в номера, решилась бы так беззастенчиво и открыто предаваться разврату при открытых дверях? В самом деле – и дверь коридора открыта, и дверь номера не заперта, и драпри раскрыто, и платье снято, так что никому не возбраняется прийти и полюбопытствовать. Как же не пришло им в голову, что если женщина так действует, то, значит, она потеряла всякий стыд, всякие проблески хорошего воспитания? Нет, они признают вполне естественным, что это могла быть Зыбина, и потому утверждают, что это была она. У них не возникает и тени сомнения! Напротив, они, знающие, конечно, что такое клевета и как она называется, сообщают о виденном людям, с которыми видятся весьма редко, притом не обязывая их молчать. Наконец, посмотрите на практическую, бытовую сторону дела. Возможно ли, чтоб подобные случаи происходили в подобной гостинице? Ведь один такой случай, рассказанный теми, кто пострадал, рассказанный тем, кто воспользовался им из любопытства, достаточен для того, чтобы подорвать в известном кругу посетителей, так сказать, авторитет гостиницы. Ведь в нее будут остерегаться ходить, если станет известно, что там нельзя оставаться в уединении, а следовательно, иногда и в безопасности, что там по коридору и по номерам всякий ходит совершенно свободно и притом без всякой надобности. Подсудимые говорят, впрочем, что им была надобность в номере. Они хотели его взять, чтобы закусить. Но за номер нужно платить особые деньги, гостиница довольна известная, номера должны быть дороги, между тем как тут же неподалеку есть множество всякого рода закусочных заведений, где трата за номер окажется лишнею. Подсудимые заявляют, впрочем, что они люди со средствами. Я сомневаюсь в этом, потому что социальное положение их нам достаточно известно. Господин Залевский – не окончивший курс технолог, занимающийся приготовлением к окончанию курса, а другой, господин Гроховский, играет в разных местах на фортепьяно – тоже профессия, не дающая особых средств к жизни. Поэтому едва ли они станут кидать деньги зря, без всякой нужды. Вообще надо заметить, что участвующие в настоящем деле лица не имеют определенных занятий. Это характеристическая черта, и ее недурно запомнить. Господин Маркелов, например, занимается тем, что три года приискивает место, господин же Хороманский заявил, что он занимается тем, что скоро собирается уехать из Петербурга.

Таково показание подсудимых по существу. Я полагаю, что они не могли видеть того, о чем они повествовали в консистории, и с недоверчивым удивлением слышу, как они определяют сложение, цвет глаз, цвет волос и болезненное выражение лица той женщины, которая играла такую важную роль в рассказанном ими господину Корзуну анекдоте. Показание их неправдоподобно и сшито белыми нитками. Оно ложно, это показание!

Посмотрим теперь вообще на обстановку показания, на то, что ему предшествовало и последовало. Для этого приходится коснуться господина Зыбина и его отношений к жене. Вы знаете из показаний его и Корзуна, что мысль о разводе явилась у Зыбина уже давно и что на осуществление ее натолкнул его Корзун, рассказав ему о жене то, что он знал от Залев-

ского. Есть, однако, основания думать, что в действительности было не так. Вы слышали некоторые свидетельские показания и письма, и из них можно вывести заключение, что господин Зыбин давно разлюбил жену и, давно бросив ее почти на произвол судьбы и полюбив, по-видимому, другую, искал развода. Но жена не соглашалась на развод. Она не легко поддавалась на просьбы мужа. Она, принеся мужу огромное приданое, имела смелость требовать, чтобы он дал ей средства, имела желание быть обеспеченной и на старости лет иметь кусок хлеба. Эти неумеренные желания мешали разводу. И вот в таком неопределенном положении дела господин Зыбин приезжает в Петербург. Если верить его показаниям, то он встречается с Корзуном. Он знаком с ним года три, с тех пор как встретился с ним в кондитерской и покупал у него билеты в театр. Зыбин говорит, что он пуще всего боится огласки, что ему, как лицу, по своему воспитанию, образованию, происхождению и положению, принадлежащему к так называемому высшему сословию, было невозможно допустить какую-либо огласку. Но что же мы видим? Встретив Корзуна, он немедленно вступает с ним в интимный разговор, а через несколько минут даже открывает пред ним свою душу, показывает все ее сокровенные больные места, рассказывает о своей несчастной жизни, в свою очередь выслушивает рассказ от господина Корзуна о прелюбодеянии своей жены и пользуется этим рассказом. Хотя все это представляется странным, но тем не менее допустим, что это так было, что господин Зыбин действительно узнал от Корзуна, что есть свидетели, которые могут доказать, что жена его совершила прелюбодеяние. Услышав такой рассказ, он мог сказать себе, что теперь несомненный факт у него налицо. Имея этот факт, он, конечно, воспользуется им, он станет настойчиво требовать от своей жены развода, он поставит ее в безвыходное положение. Огласки уже нечего бояться. Она произошла, когда есть такие посторонние свидетели, как Залевский и Гроховский. Притом господин Зыбин, конечно, знает, что невозможно развестись иначе, как имея свидетелей прелюбодеяния, так как по закону развод не допускается по одному сознанию принимающего на себя вину супруга. Но теперь у него есть прекрасное оружие, и естественно ожидать, что он станет настойчиво требовать развода с женщиной, которая, нося его титул и имя, так позорит их своим поведением. Между тем, на самом деле, он так не действует. Вы слышали содержание его писем к жене в декабре 1870 года. Разве так будет писать оскорбленный и подкрепленный двумя свидетелями супруг? Разве он станет почти ухаживать за женою, ласково обращаясь к ней, просить ее дать ему развод, а не требовать, ни разу не упомянуть, хотя бы для красоты слова, о поруганной своей чести и, в довершение всего, предлагать такие выгодные условия, как подарок в 12 тыс. руб., которые будут будто бы приносить 1200 руб. в год, и, наконец, обещать полное спокойствие и обеспечение во все время ведения процесса о разводе? Разве станет писать такие письма действительно оскорбленный супруг, который при этом давно уже думает о разводе? Я думаю, что нет. Даже показывая жене обратную сторону медали, как он сам выражался в одном из писем, господин Зыбин чрезвычайно мягкими красками рисует жене ожидающие ее последствия. Все устроится хорошо, он употребит все зависящие меры, она не должна ничего опасаться, запрещение вступать в брак почти не соблюдается, эпитимия почти не налагается, все это серьезного, по его уверениям, значения не имеет. При этом он нисколько не высказывает, чтобы считал виноватою ее лично, а только просит согласиться испытать на себе обратную сторону медали. Вы слышали ответ госпожи Зыбиной на это письмо. Ответ очень остроумен. Она говорит, что если все последствия развода, вся обратная сторона медали ничего не значат, то пусть он испытает их на себе; что если сознаться в прелюбодеянии – ничего, то пусть он сознается сам, может быть, ему, мужчине, это будет еще легче, чем ей, женщине. «Вы трактуете об имуществе, которое останется после вашей смерти, – пишет она мужу, – но зачем же говорить о смерти, думая о таком житейском деле, как развод; вы говорите, что мой воспитанник не будет обеспечен, да я и не просила о его обеспечении, но я ваша жена, и мы оба должны заботиться о сыне, а он одинаково получит наследство как от меня, так и от вас, в чьих бы руках оно ни было». Вы видите, господа присяжные, как говорят и

пишут в этом деле супруги Зыбины. Так ли говорят люди, из которых один оскорблен, а другой виновен, так ли объясняются обманутый муж и неверная жена? Конечно, не так. Поэтому мы можем признать, что встреча с Корзуном в том виде, как она рассказана Зыбиным, никогда не была в действительности.

В дополнение к этому выводу я укажу вам на довольно интересные числа. Александр Хороманский, поверенный Зыбина, заявил здесь, что он, при знакомстве с ним, в одно из первых свиданий, узнал, что он хочет начать дело о разводе и что у него есть свидетели, которые видели прелюбодеяние жены. Без сомнения, Зыбин говорил Хороманскому о прелюбодеянии жены при первом свидании, потому что иначе незачем им было видеться, не для чего была помощь Хороманского. Зыбин знал, что одного согласия и признания жены недостаточно, что нужно что-нибудь существенное, а этим существенным, конечно, представлялись свидетели. Только имея в виду свидетелей, он мог обратиться к Хороманскому; только имея их в руках, Хороманский мог начать дело. Вы слышали из показания Хороманского, что он познакомился со своим доверителем за 15 месяцев до 14 января 1872 года, т. е., следовательно, в середине октября 1870 года. Здесь на суде Хороманский говорит, что это было в конце ноября или в начале декабря. Но это показание, эта поздняя перемена времени знакомства лишены значения, потому что он же сам весьма откровенно заявил здесь, что, вместе со следователем определяя время знакомства, для точности высчитывал месяцы и затем уже подписал показание; арифметическую же ошибку здесь допустить трудно. Итак, начало их знакомства – середина октября, и первый разговор о свидетелях – никак не позже конца октября. Но откуда мог знать Зыбин о свидетелях? От Корзуна. С Корзуном он встречался – они оба согласно показывают – в конце декабря. Но как он мог говорить в октябре о свидетелях, о которых узнал только в декабре? Это новое доказательство неправдоподобности и вымышленности показаний Зыбина о разговоре с Корзуном. Из всего указанного мною, кажется, ясно вытекает лишь одно, – что оба эти лица, условливаясь начать и вести бракоразводное дело, знали, что свидетели будут. Они и были.

Затем обращаюсь к порядку, которым создались показания господ Залевского и Гроховского. Он весьма оригинален. Первый, кто сообщает обо всем Зыбину, – это Корзун. Корзун с горьким чувством рассказывает о слышанном, старается оградить честь незнакомого ему человека и, как истинно добрый человек, принимая в нем участие, считает себя вынужденным рассказать о том, что ему известно про его жену. Он оговаривается, впрочем, что сам ничего не видел, но слышал это от достоверного человека – от Гроховского. Берем господина Гроховского. Да! Господин Гроховский видел происходившее в номере гостиницы, он присутствовал при цинической сцене, видел женщину, которая явно и бессовестно прелюбодействовала. Он сам ее не знал, но ему говорил, что это Зыбина, достоверный человек, Залевский, который ее знает. Возьмем Залевского. Залевский тоже возмущен увиденной картиной и под присягой подтвердил, что он знает, что это была госпожа Зыбина. Он убежден в этом. Он знает даже ее родословную. Она дочь знаменитого в своем роде господина, и ее-то с любопытством рассматривал он в театре. В том театре был человек, который достоверно знал, что это именно госпожа Зыбина. Он-то и показал на нее Залевскому. Это был Карпович. Позовем господина Карповича...

Но его мы уже не позовем, так как оказывается, что он умер прежде, чем на него сослался господин Залевский. И вот, таким образом, является ряд свидетелей, из которых каждый говорит вещи почти неопровержимые и никто не несет прямой обязанности за сказанное. Они составляют неразрывную цепь между собою, которая начинается с Корзуна и, по-видимому, терялась бы в пространстве, если бы господин Карпович не умер. Каждый свидетель соприкасался со своим соседом по этой цепи лишь малою частицею своего показания, но в этой же частице он снимает с себя бремя ответственности и перекладывает его на соседа. Это перекладывание, думается мне, могло идти очень далеко. Но господин Карпович умер: «Мертвые срама

не имут»⁷, и на нем можно было остановиться. Можно было, как оказывается, и еще найти одно лицо, которое поддержит фонды подсудимых. Таким лицом является господин Иваницкий. Но вы слышали господина Иваницкого, вы его видели, и я думаю, что незачем разбирать его показания. Скажу только, что этот свидетель имеет слишком необыкновенные качества для того, чтобы пользоваться ими при обсуждении обыкновенного дела. Он обладает удивительным свойством дальновзоркости, и для него до такой степени не существует непроницаемости, что из второго ряда кресел Мариинского театра он видит, кто сидит во втором ярусе Большого театра. Мне жаль, что подсудимые оторвали от занятий этого канцелярского чиновника, получающего 23 руб. жалованья в месяц и ходящего слушать Патти в «Мариновский» театр, где он платит за кресло второго ряда «когда рубль, а когда и два». Его показание мало подвигает нас вперед. Обратимся опять к числовым данным. Дело началось собственно с призыва обвиняемых в канцелярию обер-полицеймейстера в половине мая 1871 года. Но какое спокойствие, какая уверенность в своей невинности сопровождает господ Залевского и Гроховского чрез все дело! Они не заботятся о своей защите, они считают излишним утруждать себя мыслью, что в показании их могла быть ошибка. Они не думают обратиться к первоначальному источнику своих показаний. Если Карпович, который тогда был еще жив, и Иваницкий могли так правдиво подтвердить их показание, то зачем же они не сослались на них в самом начале дела? Их спрашивают в полиции 15 мая, их спрашивают в консистории в начале июля под присягою и тем дают им основательный повод размыслить о том, как, если дело пойдет дальше, объяснить свои показания, повод порыться в своей памяти, чтобы найти, кто именно был тот, который явился первым звеном цепи их показаний. Однако они не припоминают, они, по-видимому, даже не желают припомнить. Наконец, 16 августа 1871 года начинается следствие, дело принимает очень серьезный характер. Это уже не консистория, – тут виден в далекой перспективе окружной суд и присяжные заседатели. Нужно, очень нужно подумать о своей безопасности! Но и здесь господа Залевский и Гроховский не разрешают дела кратким, но достоверным указанием на первоначального свидетеля, который мог их ввести в заблуждение. Залевский говорит «о знакомых», о том, что ему «говорили», «показывали», «рассказывали», что это сидит в ложе госпожа Зыбина. Их заключают под стражу 7 декабря, они лишены свободы, дело принимает, очевидно, чрезвычайно опасный характер, на них лежит очень серьезное обвинение. Что же, заботился ли Залевский указать на то лицо, которое показывало ему в театре госпожу Зыбину? Побуждает ли Гроховский своего товарища спасти его и себя? Нисколько! 29 декабря им делают очный свод с госпожой Зыбиной, они не признают в ней виденную ими в гостинице «Роза» женщину, и тогда их выпускают на свободу. Наконец, только 20 марта, в день заключения следствия, господа Карпович и Иваницкий являются на сцену. Говорят, что позднее раскаяние бесполезно. Позволительно думать, что позднее оправдание, приводимое в таких обстоятельствах, как настоящие, более чем бесполезно. Оно может быть даже вредно, ибо бывает сопряжено с пользованием такими услугами, как показание господина Иваницкого. Стоит обратить внимание и на нравственную связь этих свидетелей между собою. Какие это в сущности добрые и предупредительные люди! Как они охотно не отказывают в помощи господину Зыбину! Как каждый из них принимает живое и серьезное участие в судьбе бракоразводного дела, отвлекаясь от обычных занятий, подвергаясь преследованиям! И ужели это все делается безвозмездно? Ужели это делается так, просто, по участию? Нет ли здесь выгоды, нет ли в этом деле присутствия сильного рычага – рычага денежного? Недаром же господин Хороманский, приезжая к госпоже Зыбиной в Москву и требуя согласия на развод, говорил, что иначе и свидетели найдутся, прибавляя, что с деньгами можно все сделать.

⁷ В 970 году князь Святослав перед сражением с греками обратился к воинам со словами: «Да не посрамят земли Русской, но ляжем костями тут: мертвые срама не имут».

Я думаю, что, насколько позволяют время и ваша усталость, я достаточно указал на отрицательную сторону дела, на искусственность связи в показаниях подсудимых и, наконец, на вымышленность поводов к начатию дела со стороны господина Зыбина. Обращаюсь к положительной стороне дела, к указанию, как, по мнению обвинительной власти, создалось это дело.

Господин Зыбин уже давно не любит свою жену, давно с нею разлучился и в Вильне, в Великих Луках, завел новую семью, членом которой была личность, заменявшая ему жену. Он, по-видимому, был привязан к этой личности сильно, он писал к ней исполненные нежнейшей ласки письма, в которых высказывал надежду на развод с женою и выражал уверенность в успехе. В одном из писем, исполненном привязанности к ней, к той Кате, которая должна приехать и разогнать его тоску, есть несколько сухих и холодных слов, в которых сообщается о том, что жена очень сильно и опасно больна. Эти слова находятся в таком разладе с радостным тоном всего письма, что их можно считать тоже за радостное известие. Итак, мысль о разводе явилась и созрела уже давно. Развод необходим и крайне желателен. С этою созревшей мыслью господин Зыбин является в Петербург. Вести дело самому он считает неудобным, надо найти ходатая. Ходатай есть, он объявляет о себе в газетах как об «адвокате по семейным и бракоразводным делам». Господин Зыбин и обращается к ходатаю, а через этого ходатая знакомится и с его братом, который, в свою очередь, знакомит его со своею родственницей, которой господин Зыбин сразу начинает помогать деньгами и писать письма на французском языке. Таким образом, он входит в сношение с кружком этих лиц и ему поручает устройство своей судьбы. Прежде всего необходимо приготовить госпожу Зыбину к мысли о разводе с принятием на себя виновности. Поэтому сначала посылаются к ней искательные и широко обещающие письма, а затем едет в Москву Александр Хороманский. Зыбина остается непреклонна. Ни обещания, ни угрозы не действуют на нее. Она хочет видеть мужа, не желает позорить себя признанием своей виновности и прогоняет ходатая. Тогда приходится и без нее обойтись. Обойтись можно, и это доказывает настоящее дело. Свидетели найдены, дело можно начинать и, играя присягою, довести до благополучного конца. Но дело нужно вести в Москве, по месту жительства ответчицы, а это неудачно, потому что туда пришлось бы переносить всю организацию, которая образовалась здесь. Поэтому надо изменить подсудность дела, надо вызвать ответчицу в Санкт-Петербург, поселить ее здесь. И вот под предлогом соглашения, под предлогом переговоров, которые могут привести к цели, госпожа Зыбина вызывается в Петербург и ей посылаются для этого деньги. Хотя после ее категорического отказа принять на себя вину и заявления, что она только хочет видеть мужа, — чего он, по-видимому, не особенно добивался, — все сношения с нею надо бы считать прерванными, муж посылает ей денег и дает средства приехать в Петербург. К чему этот приезд, к чему ненужная трата 300 руб., когда для переговоров можно бы за 50 руб. опять послать в Москву Хороманского? Я позволю себе утверждать, что иначе трудно смотреть на приезд госпожи Зыбиной, на посылку за нею, как на искусственное привлечение ее в Петербург для начатия здесь дела. Когда подсудность Петербургу устроена, начинается подпольная работа и подготавливаются показания свидетелей, которым господин Хороманский, по его собственным словам, «делал визиты». Но в то время, когда все дело, как говорится, «начеку», девица Маркелова с детскою болтливостью объявляет, что ей обещают 200 руб. за ложное показание. Среди слушателей находится Мелихов, молодой моряк. Он оказывается весьма порядочным человеком. Я думаю, что в настоящем деле он единственный свидетель, до которого это дело не коснулось своею грязной стороной. На него можно указать, как на своего рода оазис среди нравственной пустыни свидетельских показаний. Он слышит, что подкупают свидетелей, возмущается и требует, чтобы Кузьмина пошла и сказала об этом Зыбиной. Кузьмина идет и рассказывает, и вследствие этого изменяется ход всего дела. Правда, все свидетели старались представить Кузьмину в таком виде, который едва ли привлекателен, и я не говорю, чтобы ей можно было особенно симпатизировать. Но если отбросить все, относящееся к ее частной жизни, то оказывается, что она по делу повинна лишь в том, что ждала денег от

госпожи Зыбиной за помощь в раскрытии интриги, которая велась против нее. Я готов согласиться, что она действительно могла ждать и ждала денег. Но что же из этого?

Она тревожилась, она беспокоилась, ее таскали в полицию, по судам, в консисторию. Она считала себя имеющей право на «благодарность». Наконец, и нельзя требовать особого бескорыстия со стороны дамы, которая была компаньонкой госпожи Маркеловой для поездок в «Орфеум» и тому подобные места. Но это свойство не изменяет силы ее показания потому, что все последующее его подкрепляет. Когда заявление сделано, госпожа Зыбина начинает защищаться и вызывает в канцелярию обер-полицеймейстера господ Залевского и Гроховского. Они видят, что дело плохо: канцелярия обер-полицеймейстера вообще для неимеющих определенных занятий, а лишь занимающихся приисканием их, должна казаться местом довольно неприятным. Они дают показание, в котором заранее отрекаются от показания, которое будет дано в консистории. Особенно красноречиво показывает господин Гроховский. Он просто не знает, зачем приходил к нему господин Хороманский, который не объяснил даже «докладно», чего он хочет, так что он, Гроховский, под давлением совести, которая его «наказует», заранее говорит, что ничего не знает о Зыбиной, а если что и узнает от Хороманского, то тотчас же сообщит в канцелярию обер-полицеймейстера. Но когда дело дошло до допроса под присягой, то и Залевский и Гроховский дали известное нам показание. Как могли они решиться на это? Почему они дали его, отрекшись предварительно?

Господа присяжные, эти подсудимые были орудием в руках опытного дельца. Этот делец был Генрих Хороманский. Он не подлежит нашему суду, он лишился рассудка, но из всего дела видно, что он был душою его, душою заговора против Зыбиной. Он, конечно, знал, что неформальные показания, данные не перед судом, а в административной канцелярии, для суда, строго заключенного в формы, какова консистория, не имеют никакого значения. Это был опытный делец по бракоразводным делам. В деле есть отношение консистории, в котором указывается, что он вел с успехом три бракоразводных дела. Такого дельца не могли устрашить клочки бумаги, где написаны неформальные слова свидетелей. В его глазах эти клочки безвредны, потому что в глазах консистории, которая строит все на присяжных показаниях, они ничтожны. Это, конечно, было ясно и наглядно объяснено свидетелям. Конфуз, вызванный в них канцеляриею обер-полицеймейстера, прошел – убеждения же Хороманского и тот рычаг, о котором я говорил выше, остались. У них оказалась полная свобода показать все, что необходимо. Так они и сделали, и притом под присягой. Дело было исправлено отчасти после ущерба, нанесенного болтливостью Маркеловой и порядочностью Мелихова. Правда, с кем осталась одна свидетельница, которую трудно направить на полезный путь, – это Кузьмина. Но что трудно, то не невозможно. Прежняя ссора забыта, и за Кузьминой начинается ухаживание, высказывается желание с нею помириться; ей назначают свидание то в «Hotel du Nord», то в гостинице «Рига». Кузьмина, по-видимому, поддается, и ей платят 10 руб. Маркеловой в задаток от господина Зыбина за то, чтобы она отказалась в консистории от того, что заявила в канцелярии обер-полицеймейстера. Этот факт дачи 10 руб. не подлежит сомнению. Что 10 руб. были даны, это подтверждает сама Маркелова, которая говорит, что отдала долг. Это подтвердил и Маркелов, который сказал, что эти деньги его сестра дала в долг Кузьминой; наконец, что они были даны – это доказывает и протокол, составленный сыскной полицией, с приложенными к нему 10 руб., которые Кузьмина принесла в полицию. Дача этих 10 руб. составляет неопровержимый факт, и можно даже поверить характеристическому показанию Кузьминой о том, как эти 10 руб. попали в руки Хороманского в виде 50 руб., вышли из них в виде 15 руб., а побывав в руках Маркеловой, обратились в настоящие 10 руб. Деньги эти Кузьмина взять взяла, но передала их полиции. Вскоре началось следствие. Результат его – будет ваше решение, господа присяжные заседатели. От вас зависит решение, права ли была обвинительная власть, доводя это дело до вашего суда, или же правы подсудимые, думающие,

что во всем виноват умерший Карпович, да в особенности госпожа Зыбина, тем, что она дочь известного господина и этим привлекает на себя внимание.

Вглядываясь в настоящее дело, я нахожу, что оно представляет собою очень умно веденную и коварную интригу мужа, желающего отделаться от жены во что бы то ни стало, какими бы то ни было средствами, причем призываются на помощь всевозможные темные и сомнительные личности и, как застрельщики, высылаются вперед ложные свидетели. Действуя ловко, обдуманно и с надлежащею помощью, эти господа целой цепью показаний опутывают госпожу Зыбину и заранее торжествуют победу, забывая, что эта победа для порядочной, с пробивающею сединою сороколетней женщины будет равняться клейму глубокого позора, не смываемого во всю ее последующую, одинокую и, быть может, нищенскую жизнь! Я думаю, однако, что ваш приговор может показать, что надежда на эту победу была весьма обманчивая. В настоящем деле нравственно виновных лиц больше, чем виновных юридически, но, к сожалению, я могу говорить только о вине, подходящей под положительные указания карательного закона. Я обвиняю господ Залевского и Гроховского в том, что они дали обдуманно ложное показание в консистории, клонившееся к расторжению брака Зыбиных, вопреки желанию одной из сторон. Мне нечего распространяться о важности этого преступления. Если измерять важность преступления его опасностью, то это преступление занимает одно из первенствующих мест. Подобного рода лжесвидетели, измышляя то, чего нет, рассказывая факты искаженным образом, клеветая и говоря ложь, пользуются самым неотразимым и страшным орудием – словом. Не рискуя, подобно вору, каждую минуту своею безопасностью, никогда не действуя под влиянием увлечения или страсти, что бывает зачастую и в убийстве, они действуют всегда неожиданно для других и очень обдуманно и безопасно для себя. Они являются со своими отточенными и налитанными ядом показаниями пред суд, и горе тем, в чью семейную или частную жизнь они заползут со своею ложью! Они по большей части неуловимы, потому что всегда хорошо обставили себя и приготовили себе выходы. Они и не затруднены исполнением своего дела. Им нужно лишь уметь связно говорить, отсутствие способности краснеть и присутствие способности заставить замолчать свою совесть в ту минуту, когда их лживые уста прикоснутся к вечной книге, в которой написаны слова святой истины. Подобные деятели опасны в обществе, и чем их больше, тем они становятся опаснее, потому что составляют компании и товарищества взаимного вспомоществования. Поэтому обществу приличнее всего защищаться от них своими собственными средствами. Одним из лучших таких средств должен быть ваш суд, господа присяжные заседатели...

* * *

Подсудимого Хороманского к моменту рассмотрения его дела признали душевнобольным.

После оглашения вердикта присяжных окружной суд постановил: лишить подсудимых всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и сослать на житье в Енисейскую губернию с воспрещением всякой отлучки из места жительства в течение трех с половиной лет и выезда в другие губернии и области Сибири в течение одиннадцати лет.

**По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах,
обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых
кредитных билетов, и Герминии Акар,
обвиняемой в выпуске таких билетов в обращение**

С 11 часов утра 25 до 7 часов утра 26 апреля 1870 г. с незначительными перерывами в первом отделении Петербургского окружного суда слушалось дело о петербургском купце первой гильдии Станиславе Янсене, его сыне французском подданном Эмиле Янсене и французской подданной Герминии Акар.

Янсены обвинялись в ввозе в Петербург изза границы фальшивых кредитных билетов (преступление, предусмотренное ст. 573 Уложения о наказаниях); Акар – в выпуске их в обращение (преступление, предусмотренное ст. 576 Уложения о наказаниях). В суд было вызвано около 50 свидетелей.

3 марта 1869 г. сыскной полицией Петербурга были задержаны купец первой гильдии Станислав Янсен и его сын Эмиль. В деревянном ящике, который был у С. Янсена, находилось 360 фальшивых кредитных билетов. Поводом к задержанию послужило заявление дипломатического курьера французского посольства Обри петербургскому оберполицеймейстеру. Обвинение было предъявлено и находившейся в дружеских отношениях со Станиславом Янсенем модистке Акар.

Председательствовал на заседании товарищ председателя А. А. Сабуров, обвинял А. Ф. Кони, защищали – В. Д. Спасович (Эмиля Янсена), В. С. Буймистров (Станислава Янсена), В. Н. Языков (Акар).

* * *

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Позднее время, в которое начинаются судебные прения, утомительное судебное заседание и, наконец, то внимание, с которым вы слушали настоящее дело, обязывают меня и дают мне возможность быть кратким, дают возможность указать лишь на главные стороны дела, основанием которых послужат только те данные, которые вы слышали и оценили на судебном следствии. Я не буду касаться многих побочных обстоятельств и мелочей, полагая, что они все оставили в вас надлежащее впечатление, которое, конечно, повлияет и на ваше убеждение. Когда возникает серьезное обвинение, когда на скамье подсудимых сидят не совсем обыкновенные люди, когда они принадлежат не к тому слою общества, который составляет наибольшее число преступников, – если не качеством, так количеством, – то, естественно, является желание познакомиться с личностью подсудимых, узнать свойства и характер самого преступления. Быть может, в их личности, быть может, в свойстве самого преступления можно почерпнуть те взгляды, которыми необходимо руководствоваться при обсуждении дела, быть может, из них можно усмотреть и то необходимое и правильное освещение фактов, которое вытекает из отношения подсудимых к этим фактам.

Пред вами трое подсудимых. Один из них старик, уже оканчивающий свою жизнь, другой – молодой человек, третья – женщина средних лет. Все они принадлежат к классу если не зажиточному, то во всяком случае достаточному. Один из них имеет довольно прочное и солидное торговое заведение; он открыл и поддерживает в Петербурге торговый дом, у него обширные обороты, он занимается самой разнообразной деятельностью: он и комиссионер, и предприниматель, и прожектор, и член многих, по его словам, ученых обществ, наконец, – человек развитой и образованный, потому что получил во Франции даже право читать публичные лекции; он

некогда занимался медициной, но затем оставил ее и пустился в торговые обороты, посвящая этим оборотам всю свою деятельность и все свои способности для того, чтобы довести эти обороты до возможно большего объема. Поэтому у него положение в коммерческом мире довольно хорошее и прочное. Вы слышали здесь, что он производит большие уплаты и находится по делам в связи с главнейшими торговыми домами. Другая личность – его сын. Он стенограф, говорят нам. Хороший ли он стенограф, об этом судить трудно. Мы знаем из его собственных слов, что он не может прочесть стенографической надписи на карточке, отзываясь, что забыл стенографию в течение двух месяцев. Но тем не менее он еще может выучиться своему делу, и если у него нет прочного положения в обществе, то зато у него есть семейство – любящая мать, занимающийся обширной торговлей отец, молодость, силы, надежды на будущее и, следовательно, наилучшие условия, чтобы зарабатывать хлеб честным образом. Наконец, третья – модистка высшего полета, имеющая заведение в лучшем месте Петербурга и посещаемая особами, принадлежащими к высшему кругу общества. Таковы подсудимые. Они обвиняются в важном и тяжком преступлении. Есть ли это преступление следствие порыва, страсти, увлечения, которые возможны при всяком общественном положении, при всякой степени развития, которые совершаются без оглядки назад, без заглядыванья вперед? Нет, это преступление обдуманное и требующее для выполнения много времени. Чтобы решиться на такое преступление, нужно подвергнуться известному риску, который может окончиться скамьей подсудимых, как это случилось в настоящем деле. Чтобы рискнуть на такое дело, нужно иметь в виду большие цели, достижение важного результата и, притом, конечно, материального, денежного. Только ввиду этого результата можно пойти, имея уже определенное общественное положение, на преступление. Но если важен результат, если заманчивы цели, если решимость связана с большим риском, если можно видеть впереди скамью подсудимых и сопряженную с нею потерю доброго имени и прочие невеселые последствия, то, естественно, что при совершении этого преступления нужно употребить особую энергию, особую осмотрительность, обдумать каждое действие, постараться обставить все так хитро и ловко, чтобы не попасться, постараться особенно, чтобы концы были спрятаны в воду. Итак, вот свойства подобного преступления. Преступление – это распространение фальшивых кредитных билетов. Я полагаю, что излишне говорить о его значении. Оно представляется с первого взгляда, по-видимому, не нарушающим прямо ничьих прав; в этом один из главных процессуальных его недостатков. Пред вами нет потерпевших лиц: никто не плачется о своем несчастье, никто не говорит о преступлении подсудимого с тем жаром, с каким обыкновенно говорят пострадавшие. Но это происходит оттого, что потерпевшим лицом представляется целое общество, оттого, что в то время, когда обвиняемый сидит на скамье подсудимых, в разных местах, может быть, плачутся бедняки, у которых последний кусок хлеба отнят фальшивыми бумажками. Этих потерпевших бывает много, очень много. Во имя этих многих, во имя тех, которые не знают даже, кто их обидел и отнял их трудовые крохи, вы, господа присяжные заседатели, должны приложить к делу особое внимание и, если нужно, то и особую строгость. Замечу еще, что дела подобного рода возникают довольно часто, но на суд попадают редко, и причина тому – обдуманность и хитрость исполнения. Только случай, счастливый случай – если можно так выразиться – представляет судебной власти возможность открыть виновников этого рода темных дел и коснуться тонко сплетенной сети поддельвателей и переводителей фальшивых бумажек. Такой случай был в настоящем деле, и с него лучше всего начать изложение обвинения.

Вы знаете, в чем состоял этот случай. К курьеру французского министерства иностранных дел Обри явился неизвестный человек, назвавшийся Леоном Риу. Он принес ему посылку и просил отвезти ее в Петербург. Обри решил взять эту посылку. Как курьер, он нередко это исполнял, и понятно почему. Он не подвергается таможенному досмотру, везет беспримесно всю кладь, а между тем бывают драгоценные вещи, которые можно переслать и верно, и дешево, и не безвыгодно для курьеров. Вы слышали показание Газе, который говорит, что

Обри не хотел соглашаться, но начальник его приказал взять посылку. Может быть, это и так. Из дела видно, что Риу действовал особенно настоятельно, что он поклонялся и начальнику Обри, чтобы посылка была отправлена. Во всяком случае, ввиду ли выгодного обещания или просто, чтобы отвязаться от навязчивого просителя, но Обри везет ее в Петербург вместе с депешами Тюльрийского кабинета. Что же такое в посылке? Это, как говорил курьеру Риу и как значит в безграмотном переводе, артикулы, т.е. образцы товаров. Посылка пустая по цене, она стоит 30 франков, ее можно бросить куда-нибудь, и она бросается в саквояж, где клеенка, которою она обшита, распарывается. В Петербурге у Обри появляется желание посмотреть содержимое посылки, и не защищенные больше оболочкой, в ней оказываются фальшивые бумажки. Об этом заявлено, и вот благодаря несколько необычной любознательности французского курьера русские кредитные билеты попадают на стол вещественных доказательств нашего суда. Вы знаете, что Янсены были затем арестованы. Обстоятельства этого ареста вам более или менее известны. Я не считаю нужным их повторять, но напомним только вкратце, что к Обри сначала явилась госпожа Янсен, но ей Обри не отдал привезенной посылки; она просила его отдать, сначала с видимым равнодушием, потом настойчиво и тревожно, обещала ему 100 франков, была до крайности любезна и ласкова... но и 100 франков не склонили Обри отдать посылку; он не поехал в театр, куда его звала госпожа Янсен, и не согласился на ее предложение заехать к ней пообедать. Это последнее предложение было весьма обдуманно, потому что, если и ехать в чужой дом обедать, то, конечно, надо было из простой любезности захватить и посылку, адресованную в этот дом. На другой день явились оба Янсена, отец и сын. Они получили посылку; отец предложил сыну расписаться и выдал деньги по требованию Обри, немножко поспорив о размере вознаграждения. Затем они вышли. Но едва только они вышли, как старика окружило двое или трое людей. Оказалось, что это чины сыскальной полиции, и отец был задержан. Вы слышали показание Э. Янсена, который говорит, что их разделило проходившее по улице войско, и он, видя, как к отцу подошел кто-то, перешел с ящиком под мышкой через улицу, чтобы узнать, что случилось с отцом, но также был задержан. Э. Янсен говорит, что если бы он знал, что в ящике, то мог бы бежать, мог бы бросить ящик в канаву, но я полагаю, что объяснение это не заслуживает уважения. Бежать он не мог, потому что, не перейдя через улицу, он не знал еще, что отца остановила полиция, а не какое-либо неопасное частное лицо, а потом бежать было уже нельзя, его сейчас бы схватили; в воду бросить – тоже некуда, ведь дело было в начале марта, и вода в канаве была покрыта льдом; остается отдаться полиции. Очевидно, что пришлось попасть в засаду; очевидно, прошла пора физического сокрытия следов преступления, а осталась лишь возможность скрыться от преследования путем умственного напряжения, т.е. посредством разного рода хитросплетенных и тонких оправданий. Таким образом – они арестованы с фальшивыми бумажками; признаки преступления очевидны; арестованные у Эмиля Янсена бумажки привезены из Парижа. Понятно, что способов объяснения только два: или они получены заведомо, или нечаянно, но незнанию, и в таком случае Эмиль Янсен играет роль несчастной жертвы, попавшейся в руки интриганам, которые его погубили для своих целей. И вот, действительно, такое объяснение является в устах Янсена. Он рассказывает, что в Париже к нему пришел некто Вернике, бронзовых дел комиссионер, с которым он встречался в кафе и мало его знал. Вернике, узнав, что Янсен едет в Петербург, просил его, взяв с собою посылку, передать по принадлежности. Забыв посылку, Янсен обратился к своему дяде Риу, который прислал ее через курьера. Риу это подтвердил, но потом, по расчету, или же, быть может, желая показать правду, говорил иное. Я не придаю значения его показаниям, потому что оба считаю ложными, но, во всяком случае, как на более правдивое, указываю на второе показание Риу. Он говорит во втором показании, что племянник собирался ехать, получив известие о болезни матери, и торопился; что при хлопотах о паспорте какой-то ящик стеснял его и он дал ящик дяде, чтобы тот отдал при отъезде; дядя забыл это сделать, потом получил телеграмму от племянника и вслед за тем письмо, в котором

Эмиль Янсен просил дядю ящик отправить через французского курьера, что и было сделано. На этом Риу умолкает и продолжает уже Янсен. Ящик был отправлен в Петербург, где должен был быть получен каким-то мифическим лицом, каким-то Куликовым, который, по словам Эмиля Янсена, явился к нему за 10 дней до получения посылки, до приезда Обри, и очень сердился, что посылка еще не привезена, настойчиво требовал, чтобы она была ему прислана, и затем обещал снова явиться, но не являлся. Думаю, что внимательное рассмотрение такого рассказа приводит к убеждению, что он с начала до конца неверен и выдуман Янсеном в свое оправдание.

Прежде всего, в этом рассказе встречаются на первом плане действия переводителей фальшивых бумаг. Эмиль Янсен попал в руки двух лиц: Вернике, который через его дядю отправил бумажки, и Куликова, который их должен был получить. Посмотрим, как действуют эти лица. Вернике приносил к Янсону посылку для отправления, а ведь Янсен обыкновенный человек, едет обыкновенным путем в Петербург. Этого Вернике не может не знать. Но багаж обыкновенных путешественников осматривается на таможнях, и, вероятно, и у Эмиля Янсена тоже осмотрят, могут найти фальшивые бумажки, и они пропадут. Но фальшивые бумажки, как бы плохо они ни были сделаны, а настоящие сделаны хорошо, представляют известную ценность, они стоят в смысле труда дорого, и подделка их сопряжена с большим риском, поэтому отдавать их незнакомому человеку, зная, что они при таможенном обыске могут весьма легко пропасть, по меньшей мере неосторожно, и обличает неуважение к своему труду в таких ловких людях, как фальшивые монетки, которые, конечно, работают не из простой любви к искусству. Итак, вот первая странность со стороны Вернике. Затем Вернике все-таки оставляет эти бумажки у Эмиля Янсена. Понятно, что, оставляя их, он должен был известить немедленно своих сообщников о том, где они находятся. Но он этого не делает сейчас же, потому что Эмиль Янсен приехал в Петербург 21 января, а Куликов явился гораздо позже. Это объясняется отчасти рассказом Риу. Вы слышали, что посылка передана Риу, который отправил ее в ящике. По мнению Риу и Эмиля Янсена, в этой коробке французские товары на сумму в 30 франков. Вы знаете, что Обри, французский курьер, уехал из Парижа, как он показывает, около 8 марта. Затем, за семь дней до его отъезда, к нему Риу принес коробочку с бумажками, следовательно, это было около 1 марта по французскому стилю, т. е. это было, во всяком случае, не ранее 16 февраля по русскому стилю. Куликов же явился за 10 дней до приезда Обри в Петербург: приезд этот произошел 1 марта нашего стиля, следовательно, Куликов явился 18 февраля. Таким образом, он явился через два дня после того, как Обри получил бумажки. Предположим, что Вернике телеграфировал своему сообщнику, но он мог телеграфировать только после того, как Обри согласился везти пакет. В таком случае Куликов явился чересчур скоро, немыслимо скоро. Ему телеграфировали 16 февраля, что Обри взялся везти бумажки, а 18 он уже является за их получением, да еще сердится, что Обри не доехал из Парижа в одни сутки! Но предположим, что телеграммы не было послано, а было послано письмо, в котором Вернике извещал, что бумажки сданы Обри и придут к Янсону. Письмо это могло быть отправлено в день вручения бумажек, следовательно, 16 февраля. Письмо из Парижа получается на четвертый день, следовательно, могло быть в Петербурге только 20 февраля, между тем Куликов является 18. Каким же образом он мог прийти ранее получения письма? Таким образом, в действиях Куликова представляется явная несообразность. По числам мы видим, что если он получил телеграмму, то явился слишком рано, если же получил письмо, то должен был явиться гораздо позже; между тем он является в срок, слишком ранний для телеграммы и невозможный для письма. Куликов знает, что ему отправлены фальшивые бумажки; он заботится о посылке, сердится, что бумажки в свое время не прибыли, а между тем не оставляет Янсону своего адреса, не приходит в течение 12 дней, не приходит и до настоящего времени. Где же этот переводчик или приемщик, куда он девался? Оставил он бумажки на произвол судьбы? Забыл о них? Но это невозможно: ведь бумажки представляют целый капитал в 18 тыс.! Ведь не случайный

же он человек в этом, хотя и опасном, но выгодном предприятии, если ему прямо были адресованы бумажки!

Потом этому же Куликову поручено передать печать дома Бурбонов. Это тоже довольно странное явление. Зачем какому-то Куликову печать дома Бурбонов? И почему не укротил гнев Куликова Эмиль Янсен хотя бы отдав печать? Вы видите, что оба – и отправитель, и получатель посылки – действуют странно: оба поручают ее лицу, им совершенно неизвестному; оба сначала употребляют большие хлопоты, чтобы отправить и получить ее, сердятся, шумят и затем внезапно умолкают, мало того – оба исчезают и притом бесследно. О Куликове мы не имеем никаких сведений, о Вернике также. Из справки французской адресной экспедиции видно, что никакой Вернике никогда не жил в той местности, на которую указал Эмиль Янсен. Есть указание на какого-то португальского выходца, но он уже уехал из Парижа, когда шло дело об отправке посылки; этот же Вернике был, по словам Янсена, не португалец и имел определенные занятия и постоянное местожительство.

Посмотрим теперь на действия самого Эмиля Янсена и Риу. Ведь ящик, который должен был быть отправлен в Петербург, заключал в себе весьма недорогие вещи: образчики товаров, оцененные в 30 франков. Их нужно перевезти в Петербург. Очевидно, их поручают перевезти не по почте, потому что не желают платить несколько франков почтовых расходов, а между тем какие из-за этого хлопоты! Эмиль Янсен оставляет пакет в Париже у дяди и говорит, что поручил отдать его себе в минуту отъезда, т.е. берут с собою самые нужные вещи, которые надо всегда иметь под рукою, а не в багажном вагоне. А тут чужая, малоценная посылка, с которой придется возиться всю дорогу, бояться утраты ее, рисковать забыть и т.д. Но пусть будет так! Дядя позабыл ее отдать на станции железной дороги – и Эмиль Янсен уехал без драгоценного ящика с образчиками товаров на 30 франков. Но что за важность, если он забыл пустую посылку, оцененную недорого и порученную ему малознакомым человеком? Ведь ее можно прислать по почте и в наказание за забывчивость заплатить за это несколько франков. Но мы видим, что из-за пустой посылки начинаются большие траты, посылаются телеграммы, которые стоят по 4 руб., между тем как посылка по почте стоила бы не более 4 франков, начинается писание писем, появляются хлопоты и беготня. Из письма Эмиля Янсена к Риу видно, что он должен отыскивать адрес курьера, ходить в министерство, кланяться и умолять начальника Обри... Наконец, Риу должен обещать вознаграждение курьеру, торгуясь, по словам письма Эмиля, но немного. И эти-то затраты и хлопоты происходят из-за образчиков в 30 франков! Правдоподобно ли это? Защита здесь приводила письмо Риу к Эмилю Янсону, в котором он рассказывает о своих хлопотах и пишет, что первые хлопоты были неудачны. Защита обращает особенное внимание на то, что письмо приходит из Парижа 12 февраля, т.е. до отправки письма Эмиля Янсена к Риу, в котором он просит хлопотать в министерстве, просит исполнить поручение относительно отправки посылки. Но что же это доказывает? Доказывает только, что нужно было хлопотать в министерстве даже до получения письма Эмиля. Откуда же знать об этом Риу? Из телеграммы, которая была ему прислана, как видно из его письма к Эмилю. Он отвечает на эту телеграмму, что в министерстве ничего нельзя устроить. Затем, 14 февраля, ему посылается письмо с более подробными указаниями. Может быть, нам скажут, что это вызывалось обещанием Куликова, который, рассердившись, что бумажек нет, выразил обещание заплатить много, лишь бы посылка была скорее на месте. Но Эмиль Янсен показал, что Куликов приходил за десять дней до прибытия посылки через Обри, т.е., как мы уже доказали, ни в каком случае не позже 18–20 февраля. Между тем письмо Эмиля Янсена, в котором он требует, чтобы Риу так сильно хлопотал, помечено 14 февраля, т.е. до прихода еще Куликова, когда, следовательно, никто не мог обещать вознаграждения и сам Эмиль знал только, согласно своему рассказу, что ему был поручен маленький ящик с образчиками товаров. Такими представляются действия Риу и Эмиля Янсена. Действия эти весьма странны. Они указывают, вместе с отсутствием Куликова, на то, что Эмиль Янсен не мог не знать, что нахо-

дится в ящике, который отправляется к нему. Почему он пересылается через Обри – это весьма понятно: Обри не будут осматривать, он может провезти бумажки безопасно; но ни по почте, ни самому везти их нельзя. Единственное средство – это препроводить бумажки или запрятать их в какой-нибудь товар, например, в карандаши, как это делается иногда, что довольно хлопотливо и трудно, или отправить их с таким лицом, которое не будут осматривать. Но такое лицо можно найти только среди дипломатических агентов, курьеров посольства. И вот обращаются к Обри. Являются хлопоты, телеграммы, деньги, и, наконец, бумажки прибывают в Петербург. Здесь их ждет Эмиль Янсен. Он посылает за ними свою мать. Но женщине их не отдают. Тогда он является со своим отцом.

Здесь мне предстоит перейти к определению отношений отца к сыну и участия его в настоящем деле.

Прежде всего возникает вопрос о том, мог ли знать отец Эмиля Янсена о том, что такое получил сын. Я думаю, что он должен был и мог это знать. Для этого существует уже одно первоначальное указание. По прибытии посылки в Петербург к Обри явилась жена Янсена и предлагала ему 100 франков. Но жена Янсена показала здесь, что она в материальном отношении была в полной зависимости от мужа: у нее нет своих средств, и она не может истратить без разрешения мужа даже такой небольшой суммы, как 25 франков. Однако она предлагает вчетверо больше, значит, уверена, что муж одобрит ее расход. На другой день является ее супруг. Он действует очень осторожно, торгуется, недоволен высокой ценой, которую запрашивает Обри, и, наконец, приказывает сыну расписаться, несмотря на то, что Обри предлагает сделать это ему, одним словом, старается остаться в тени и обезопасить себе выход. И действительно, если проследить всю деятельность Станислава Янсена, если посмотреть на его положение в деле, нельзя не заметить, что это человек, который никогда очевидным, явным, резким виновником какого-либо преступления явиться не может: он слишком опытен, слишком много пережил, слишком много испытал профессий, чтобы так легко попасться в подобном деле, как его сын, который сумел устроить все нужное для привоза бумажек, но лишь попался, тотчас же стал давать опасные для себя показания. Посмотрим на те предварительные данные, которые мы имеем для суждения о Янсене-отце в 1831 году. Он был эмигрантом и вернулся в Россию в 1858 году, когда ему было это позволено, благодаря заступничеству саксонского посланника в Париже; с этого времени он начал заниматься торговлей, сначала один, потом с Гарди, стал писать проекты и бросаться в самую разностороннюю деятельность. Такая деятельность не совершенно ясна; в ней много туманных пятен. Вы знаете про письмо какого-то «Старого», где говорится об условии с курьерами французского посольства – «по 15 руб. с килограмма». Какие же это посылки? Ведь Янсен ведет обширную торговлю, все, что нужно ему получить, он может получить через таможню. Он ведет, наконец, настолько важную торговлю, что не может нуждаться в нескольких франках и сберегать их посредством посылки чрез курьеров. Очевидно, он должен перевозить через курьеров такие вещи, которые трудно и даже опасно перевезти иначе. Вы знаете, что жена его живет в Париже и не раз пересылала через курьеров какие-то пакеты. Почему же их было не послать с товаром? Она заведовала его комиссиями, пересылала товары большими грузами, для чего же еще пересылать через курьеров, бегать в министерство и там хлопотать? Затем, следя далее за деятельностью Янсена-старика, мы знаем, что в 1875 году, в конце его, он вступает с Гарди в компанию. Вы слышали показание Гарди. На Гарди действительно лежат какие-то темные пятнышки. Я не стану их отрицать ввиду отзывов, которые прочла защита. Правда, что отзывы, без подтверждения их фактами, ничего не доказывают, но положим, что они более или менее справедливы, предположим, что люди не станут отзываться о ком-либо так враждебно без всяких поводов с его стороны. Положим, он был несколько нечист в своей деятельности, но в какой деятельности? Он что-то такое нечистое сделал 20 лет тому назад. Но ведь и более важные преступления докрываются давностью, а тем более проступки и увлечения, совершенные в молодости. Поэтому я думаю, что пятнышки

эти можно бы уже и смыть... Допустим, однако, в угоду защите, что Гарди самый порочный человек, но все же я полагаю, что ему нельзя вовсе не верить; нет такого заподозренного человека, которому нельзя бы было сказать: «Ты лживый человек и не верен в словах, но могут же быть случаи, где и ты говоришь правду, и эти случаи будут те, когда сказанное тобой подтвердится другими побочными обстоятельствами, которые, подкрепив твои слова, придадут им непривычную нравственную силу». Обращаясь к Гарди, мы видим, что такие подобные обстоятельства существуют: это, во-первых, показание Бадера, которое подтверждает показание Гарди, и, во-вторых, заявления Гарди властям. Вы знаете, что им найдены были бумажки, спрятанные у Янсена; убедясь, что они фальшивые, он подавал ряд заявлений в особое отделение канцелярии министерства финансов, в третье отделение и к обер-полицеймейстеру. У него был опытный адвокат, как это видно из самой формы бумаг, самому же ему было некогда заниматься, и он рассказал адвокату, что компаньон его по торговле имеет фальшивые бумажки. Заявления эти, как не подкрепленные надлежащими неопровержимыми доказательствами, представить которых он и не мог, остались втуне. Вы слышали здесь его показание. Он находил у Янсена неоднократно фальшивые билеты и однажды даже нашел целую пачку фальшивых бумажек. Он говорит, что, обертывая бумажки около банок с помадой и румянами, он прятал деньги от жены. Здесь возбужден был вопрос о том, как же можно держать деньги, хотя бы и фальшивые, в незапертых помещениях, там, где находился еще слуга Михайлов, который был здесь допрошен. Я полагаю, что возбуждением такого вопроса ничего не доказывається. Шкаф, говорят, не запирался; но ведь в квартире могли быть только два лица, которые могли ходить в магазин: Гарди и Янсен. К Гарди Янсен мог относиться с доверием, да ему и не надо было ходить в шкаф, так как в нем хранились разные ненужные ему вещи. Вы слышали, что Гарди заведовал лишь фабричной частью и что только случайный приезд знатной невесты заставил его отыскать среди банок с румянами бумажку. Затем, что касается Михайлова, то он жил в особой комнате, на кухне, и когда господа уходили, то магазин запирали, запираение же лавки действительно запираения шкафов. Одна из бумажек, взятых Гарди у Янсена, представлена к делу. Она, бесспорно, фальшивая. Вы слышали об этом удостоверение Экспедиции заготовления государственных бумаг, вы слышали также показание Бадера, который говорит, что ему бумажка была дана для размена, но никто ее не менял, как фальшивую, и она осталась. Конечно, могут сказать, что человеку, занимающемуся торговлей, среди большого количества бумажек могли попадаться фальшивые бумажки. Но он их мог бы отдать назад, или разорвать как негодные, или, наконец, снести в банк. Однако нет: он хранил их вокруг разных баночек с румянами, тщательно завернутыми. Затем вы знаете, что в Путивле жил некто Жуэ, который делал шпалы для железной дороги и между рабочими пустил в обращение немало фальшивых десятирублевых билетов. Когда эти билеты были обнаружены, то был произведен у Жуэ обыск, причем найдены 92 десятирублевые фальшивые бумажки. Жуэ бежал, и преступление осталось безнаказанным, а бумажки из его запаса распространились в большом количестве в России, как видно из сообщения Кредитной канцелярии. Жуэ переписывался с Янсеном, он находился с ним в особых дружеских отношениях, жил у него, Янсен провожал его при отъезде и хлопотал для него о месте на железной дороге. У Жуэ найдены письма к нему Янсена. Янсен утверждает, что в этих письмах говорится о присылке какого-то спринцевания и в подтверждение этого даже представляет почтовую повестку. Но она ничего не доказывает. Не говоря уже о том, что посылка полуфунта спринцевания, как говорит Янсен, за 900 верст в такое место, где есть аптека, представляется крайне неправдоподобным, гораздо легче было послать рецепт; надо заметить, что из расписки почтовой конторы вовсе не видно, чтобы Янсен отправлял спринцевание. Из протокола судебного следователя видно, что, при обыске Жуэ, у него найдено письмо Янсена, где говорится о целом ряде спринцовок. Зачем же они ему посылались? К чему укладчику шпал масса спринцовок? Невольно думается, что спринцовки лишь условный термин, тем более, что эта странная, не совсем понятная пересылка требовала даже

личных свиданий Жуэ и Янсена, как это видно из письма последнего, прочитанного здесь. И какая оригинальная судьба этих Янсенов! И случайный парижский приятель молодого Эмиля, и старый друг старого Станислава – один на парижском бульваре, другой в Игоревском древнем городе – оказываются весьма прикосновенными к фальшивым бумажкам одного и того же рода подделки! Таковы данные, которые мы имеем относительно прошлого Янсена-отца.

Затем мне предстоит очертить отношения Янсена к сыну по настоящему делу. Не спору, что для того, чтобы доказывать прямо и разительно виновность С. Янсена, нужны бы письменные доказательства, которых, однако, лицо, подобное С. Янсену, никогда в деле не оставит, но полагаю, что виновность его доказывается прежде всего тем, что без него его сын и не мог бы устроить доставку бумажек. Для того, чтобы привезти фальшивые бумажки в Петербург, для того, чтобы сбыть их с выгодой, нужно знать, что в Петербурге есть сбытчик, нужно знать, что в Петербурге найдутся лица, которые купят их, лица верные, на которых можно надеяться, которые явятся по первому призыву. Откуда же Э. Янсен мог знать об этих лицах, проживая в Париже и давным-давно оставив Петербург? Он не мог, однако же, явиться с бумажками, не зная, куда же их сбыть и кому. Трудно предположить, чтобы француз, не говорящий по-русски, новый человек в Петербурге, приехавший по случаю болезни матери, нашел случай отыскать людей, которые взялись бы сбывать бумажки, или стал бы распространять их сам по рукам – по одной, по две. Это требует длительного пребывания и, при незнании русских обычаев и языка, было бы опасно.

Итак, он должен знать, куда их сбыть. Но кто же его знакомые? Мы их видели на суде. Это добрые малые, хорошие приятели, которые ходят с ним в театр, обедают, охотятся, но фальшивых бумажек, очевидно, не распространяют. Для успеха и безопасности его предприятия необходим хорошо знакомый со сбытчиками человек, знающий петербургские обычаи и притом человек верный, близкий, в том возрасте, который «ходит осторожно и осмотрительно глядит»⁸. Кто же является таким лицом? Его отец Станислав, который мог указать сыну на возможность пересылки посредством курьера французского посольства, так как не раз посылал через подобных лиц посылки, Станислав – компаньон Гарди, у которого последний нашел бумажки вокруг баночек с румянами, друг Жуэ, так много распространявшего бумажек в путивльском округе и получавшего такие странные посылки. Таковы данные против Янсена. Я говорю здесь только об общих, самых главных основаниях к обвинению и избегаю приводить целый ряд мелких подробностей, которые оставляют, однако, общее впечатление и убеждение в виновности. Вы видите уже из тех данных, которые я привел, что между Э. и С. Янсенами не могло не существовать связи. Если вы признаете, что Э. Янсен действительно устроил ввоз бумажек, если вы вспомните рассказ его о Риу, Вернике и Куликове, об этом неизвестном русском человеке, которому понадобилась печать дома Бурбонов, если вы припомните, что этою печатью, которую он взял с собою, а не отослал вместе с ящиком, были запечатаны фальшивые бумажки, если вы, повторяю, вспомните все это, то вы едва ли можете не признать, что он не мог сделать этого иначе как при посредстве своего отца, так как в Петербурге он совершенно чужой, незнакомый. Вам, может быть, скажут, что поведение отца его у Обри показывает, что Янсен действовал с сознанием своей невинности. С видом невинности, но не с сознанием ее, скажу я... Когда Янсены явились к Обри, пакет оказался распечатанным, и у них, конечно, возникло подозрение, что Обри знает о содержании посылки. Но они имели основание предполагать, что Обри посмотрел только на обертку, что снималась только клеенка, так как он мог думать, что коробка, в ней заключенная, сломалась, они знали, наконец, что пакет запечатан и что едва ли кто решится сорвать чужую печать. Но если бы даже и допустить, что Обри узнал, что в ящике содержатся бумажки, то, как иностранец, он мог не знать, какого происхождения эти бумажки. Да, наконец, какое ему до всего этого дело? Разве он пойдет заявлять русской

⁸ Неточная цитата из произведения А. С. Пушкина «Полтава».

полиции, будет возиться с нею, зная, что его будут таскать и допрашивать? Да и какое дело ему даже и до того, что это фальшивые бумажки? Ему лучше оставаться с Янсеном в добрых отношениях и получать от него вознаграждение. Даже если и предположить, что Обри догадался, в чем дело, то и в таком случае надо сохранить наружное спокойствие, не бежать, не отказываться от посылки, иначе Обри, пожалуй, подымет крик, а надпись на посылке: «от Риу – Янсену» – послужит тяжкою уликою против Янсенов. Лучше доиграть свою роль до конца, лучше взять спокойно посылку, расплатиться, поторговавшись для виду, распрощаться и уйти. Таковы действия обоих Янсенов. Подсудимые составляют два небольших, но веских звена в массе подделывателей и переводителей фальшивых бумажек. Что эти лица являются таковыми – на это указывают вам и те цифры, которые я приводил. Я их вам напомним. Вспомните, что при обыске у Станислава Янсена найдена бумажка за № 91701; вспомните, что фальшивые бумажки, найденные при арестовании у Эмиля Янсена, были за № 91700, 91702 и 91704 и т. д. Эти бумажки, как уведомил банк, принадлежат к одному и тому же роду подделки, к одному и тому же выпуску, именно к 19 роду подделки. Затем вы знаете, что в Варшаве не ранее арестования Янсенов, как заявила защита, а позже – 20 марта, открыта подделка бумажек на огромную сумму – на 100 тыс. руб. Бумажки эти оказались той же фабрикацией, и между ними являются пробелы, именно они идут через номер, таким образом, что один номер у Э. Янсена, а другой в Варшаве. Я приведу цифры: 23544 в Варшаве, а 23545 у Э. Янсена, 23546 в Варшаве, а 23547 у Янсена, 23552 у него же, 23553 в Варшаве. Какой же вывод из этого? Нам скажут, что единственно тот, что бумажки выходили из одного места подделки. Да, но самое разделение их на две группы не показывает ли, что они были разделены так для того, чтобы не подать никакого подозрения в подлинности их. Так обыкновенно делают распространители бумажек. Наконец, бумажка, которая найдена у С. Янсена, очевидно, поступила к нему до провоза бумажек к Э. Янсену. Откуда же она взялась? Она оказывается одной подделки с теми, которые найдены у Э. Янсена. И вот является вполне основательное, как мне кажется, предположение: за границей существует подделка русских бумажек; нужно выпускать их сериями в Россию; для того, чтобы распространение не подавало особого подозрения непрерывностью номеров и для большего удобства в счете их, они разделяются на две группы: направо и налево. Таким образом, образуются две пачки – одна отправляется в Варшаву, другая – в Петербург. Для Петербурга находится Э. Янсен, который берется устроить провоз через французского курьера, благо у его отца есть связи с курьерами. Но для того, чтобы отвезти, надо иметь лицо, которое возьмет бумажки, будучи уверено, что их можно сбыть с барышом, а для этого надо отвезти бумажку и показать ее: «Годятся ли-де такие?» И вот такая-то пробная, образцовая бумажка за № 91701 найдена у С. Янсена. Она ему предъявлена сыном, рассмотрена и им одобрена. Затем является телеграмма, переписка, поручение выслать бумажки, и остальные бумажки являются к Э. Янсену, который так усердно и назойливо хлопочет о провозе тридцати франковых образчиков. К счастью, Обри слишком любопытен, а сыскная полиция достаточно бдительна, и бумажки вместе с Янсеном представлены теперь на ваш суд, господа присяжные. Вот доводы относительно обвинений Янсенов... Перехожу к обвиняемой Германии Акар.

Хотя главным деятелем физическим в настоящем деле является, по-видимому, Эмиль Янсен, хотя против него существует большая часть не подлежащих сомнению улик, я должен заметить, что главным деятелем, душою всего этого преступного дела является, по мнению моему, Станислав Янсен, и он своею деятельностью оттеняет и обрисовывает деятельность Германии Акар. Она обвиняется в том, что распространяла фальшивые бумажки. Но для этого ей нужно было их получить от кого-нибудь, нужно было войти в сношение с лицами, которые нашли бы удобным распространять через нее бумажки, нужен был, наконец, случай для их распространения. Вы слышали из определения судебной палаты, что обвинение ее основано на свидетельских показаниях. Начиная свидетелями, палата приходит к общему выводу о винов-

ности Акар. Я попробую действовать наоборот и рассмотреть сначала те предположения, которые вытекают из сведений о личности Янсена и о его отношениях к Акар.

Вы знаете, что между Янсеном и Акар существовала большая дружба, старинная приязнь, переходящая почти в родственные отношения, которая допускает постоянное пребывание Янсена у Акар, допускает возможность обедать и завтракать у нее, заведовать ее кассою, вести расчеты, почти жить у нее, так что даже ключ от магазина, по закрытии его, Гарди должен был посылать к Акар. Из того, что я говорил уже о С. Янсене, я вывожу, что у него была возможность – в виде промысла сбывать и распространять фальшивые бумажки, получаемые с места производства. Но распространять их посредством раздачи мелким промышленникам не всегда верно и по большей части опасно; передать же их в руки распространителей в больших размерах – не всегда выгодно. Лучше всего пустить бумажки в чьи-либо торговые обороты. Но в чьи? В свои – неудобно, в чужие – опасно; лучше всего в чужие, но которые были бы подобны своим. Итак, нужно их передать в руки такого лица, которое близко, верно и не выдаст. Это лицо, к которому Янсен относится с полным доверием, этот старый верный друг – Акар, богатая модистка, имеющая заведение в лучшем месте города. Вы видели здесь ее мастериц, их блестящие костюмы, изысканные манеры. Вы знаете, что каков магазин, таковы должны быть и заказчицы. Если мастерицы одеваются великолепно, если модное заведение помещается на лучшей улице, то, очевидно, заказы должны быть в широких размерах и по количеству, и по платежу. Такие заказы не в рублях, а в сотнях, могут делаться лишь лицами богатыми, которые покупают много и расплачиваются сразу большими суммами. Вот этим-то лицам под шумок, среди любезностей и веселой французской болтовни, лучше всего и сбывать фальшивые бумажки. Им можно дать сдачи несколько десятирублевых бумажек. Великосветская барыня, купившая на большую сумму, не станет, пожалуй, их и считать, а тем более рассматривать, а положит, скомкав небрежно, в кошелек. По приезде домой окажется, быть может, что есть в нем бумажки фальшивые, но она посетила столько магазинов, испытала столько встреч, что ей неизвестно, где она их получила, да и стоит ли хлопотать, «унижаться» из-за какой-нибудь десятирублевой бумажки, рискуя, может быть, встретить наглое отрицание и удивление? Так сегодня, так и завтра. Вы знаете, какие покупки делают светские дамы высшего полета, вы знаете, например, о закупках невесты польского графа, которая купила сразу на 245 руб. разной косметической мелочи, что и послужило к открытию фальшивых бумажек около банок с румянами. Но кто покупает на 245 руб. помады и духов, румян и белил, тот, очевидно, не очень ценит деньги. При таких-то покупках всего удобнее распространять фальшивые бумажки. Итак, удобство распространения фальшивых бумажек существует. Затем существует и возможность приурочить Акар к преступлению. Янсен заведует ее кассою. Чрез расходную кассу и потекут фальшивые бумажки. Весь вопрос в том: знала ли она, что распространяет фальшивые бумажки? Она не могла не знать этого. Если бы в кассу попадали часто фальшивые бумажки, без ведома Акар, то лица, являющиеся за платежами, своими разговорами и протестами по поводу их фальшивости смутили бы хозяйку, и Акар стала бы беспокоиться, негодовать, отыскивать причины появления бумажек, заподозривать заведующего кассою, т. е. Янсена, и дело могло бы принять дурной оборот. Поэтому лучше откровенно сказать ей, представить всю опасность этого дела и своим нравственным влиянием побудить ее распространять бумажки. Верный друг не выдаст, а вместе они сумеют вести наступательную войну против покупателей и получателей и принимать оборонительные меры, когда это, в некоторых случаях, окажется нужным. Здесь вы слышали показания свидетелей, которые, кажется, достаточно указывают на то, что Акар распространяла бумажки. Дозье, Десиметьер, его сестра, Наво, Шевильяр, Алексеев, Кондратьев, Филиппов единогласно утверждают, что Акар очень часто выдавала фальшивые бумажки, но беспрекословно принимала и обменивала, когда их ей возвращали. Защита выставила ряд свидетелей, которые говорят, что им никогда фальшивых бумажек не давали. Но преступление всегда совершается относительно определенных лиц, а не всех приходящих в соприкоснове-

ние с виновным. На одного обокраденного, побитого, обманутого приходится всегда несколько людей, которых обвиняемый не затронул своими действиями. Их присутствие разряжает ту атмосферу преступности, в которой происходит деятельность обвиняемого, но их показания доказывают лишь отрицательные факты – доказывают лишь, что они благодаря случаю, обстановке или личным видам обвиняемого избежали возможности быть его жертвами. Рассмотрим притом показания свидетелей защиты и обвинения. Они разделяются на две группы. Одни служат у Акар и, очевидно, боятся выдать свою госпожу, говоря, что они никогда не видели фальшивых бумажек и не слыхали об этом, и даже отрицают такие обстоятельства, которых не отрицает и сама Акар, например, получение бумажек от Лесникова и от Десиметьер. Акар признает, что ей была возвращена бумажка от Лесникова, признает также и то, что бумажка была возвращена и от Десиметьер, свидетели же первой категории говорят, что этого ничего не было. Вы слышали здесь показания Десиметьер и его сестры, совершенно точные, ясные. Бумажка, принесенная Ревеккою Катц, была ею самою отмечена, и только благодаря этому дня через два была возвращена Акар для обмена на настоящую. Ревекка же говорит, что ничего подобного не было, что когда оказалось, что бумажку принять нельзя, то она тотчас же унесла ее назад, а на вопрос – для чего приносила она бумажку – указывает на то, что в магазине не было сдачи. Но невозможно предположить, чтобы в таком громадном магазине не было сдачи с десятирублевой бумажки, как в какой-нибудь табачной лавочке, – и притом на Михайловской улице, где кругом масса меняльных контор. Затем следует другая группа свидетелей. Все они говорят, что в магазин часто возвращали фальшивые билеты; они поступали преимущественно по субботам. Здесь постоянно возникал вопрос о том, могли ли мастерицы видеть мелких поставщиков галантерейного товара, приходивших за деньгами, так как они находились наверху, касса же внизу, и сверху ничего нельзя было видеть. Да, быть может, все это так, но что же из этого следует? Ведь они все вместе обедали в седьмом часу, в то время, когда мелкие торговые заведения в субботу все уже по большей части закрыты, и, следовательно, в это-то время купцы и являлись обменивать фальшивые бумажки. Да, наконец, разве все эти изящные мастерицы целый день сидели, согнувшись в своей душной рабочей комнате? Акар, вероятно, профессор своего дела: они должны были у нее просить разных выкроек, спрашивать указаний, объяснений, следовательно, они могли постоянно к ней являться, сбегать сверху вниз и присутствовать при расчетах с покупателями. Мы имеем показание Маргариты Дозье. Оно вполне правдиво. Свидетельнице этой после того как поссорившись с Акар, она должна была отойти по настойчивому требованию последней, следовало получить 13 руб., в числе которых ей была дана десятирублевая фальшивая бумажка; она отнесла ее назад, но Акар у нее ее не приняла. Против этого были выставлены две свидетельницы; они очень неопределенно говорят о двух пятирублевых бумажках, но ни одна из них не объясняет, какого рисунка были эти бумажки, старого или нового, ни одна из них не может сказать, что говорилось по поводу этих бумажек, ни одна из них не утверждает даже, чтобы присутствовала при вручении их Дозье. Сама подсудимая заявила под конец, что действительно ею были даны две пятирублевые бумажки, но вы слышали, что сначала она говорила о двух десятирублевых бумажках. Притом, какой повод Дозье возводить напраслину на свою соотечественницу? Хотя она и отошла от Акар, но, по-видимому, совершенно довольна своим положением. Вы слышали ее показание, полное добродушной иронии, вы видели, как богато и красиво она одета. Очевидно, что давняя ссора с хозяйкою отошла для нее в область прощения и забвения, и здесь она говорит то, что было действительно, даже и не зная, что ее десятирублевая бумажка есть только кусочек мозаики в одной общей картине. Другим свидетелем является приказчик Лесникова, который показал, что приносил назад фальшивую десятирублевую бумажку и требовал взять ее назад, что и исполнила Акар. Но нам могут сказать: какое же это распространение, если бумажки берутся назад? Да, это единичные бумажки, распространяемые между ремесленниками и мелкими торговыми людьми в виде пробы, наудачу... Люди эти дорожат каждой копеечкой; они

начнут шуметь по поводу своего добра, а когда такой человек зашумит, то он не скоро перестанет, и потому приходится иногда великодушно взять бумажку назад, пожаловавшись при этом на экономическое положение России, где такая пропасть фальшивых бумажек. Приводят здесь кассовую книжку, но что же она доказывает? Это только простая книжка, не отличающаяся от книжек мелочных лавочников, чуждая всяких бухгалтерских приемов; в ней своя рука – владыка, а потому вечером, когда сводились счета, легко было свести концы с концами; книжка не имеет ничего ясного и точного, полна помарок и перечеркиваний. Наконец, вы знаете, что кассой долгое время заведовал сам С. Янсен. Припомните частое пребывание его у Акар, припомните, что от нее выходят все десятирублевые бумажки, припомните, что они выходят одновременно с тем, когда Янсен бывал так часто у Акар, и в то время, когда и в Путивле распространялись десятирублевые бумажки. От кого же исходят эти бумажки, распространяющиеся и в Путивле, и в Петербурге, и между светскими барынями, и между несчастными работниками железной дороги? Почему именно у Янсена такие друзья, как Акар и Жуэ, от которых исходят бумажки одинакового достоинства и подделки? Почему именно в то время, когда кассою госпожи Акар заведывает друг господина Жуэ, от нее исходят фальшивые бумажки, которые она так спокойно и беспрекословно принимает? Почему именно та из ее мастериц, которую она выгоняет, получает десятирублевую фальшивую бумажку? Вот вопросы, на которые может быть один ответ: потому что Акар виновна, потому что она распространяет бумажки сознательно.

Вот, господа присяжные заседатели, те данные, которые я имел вам передать. Сожалею, что не могу вам изложить всего подробнее. В настоящую минуту нет времени на это, все очень устали, а вас еще ждут три защитительные речи. Если, однако, защита будет касаться подробностей, которые я обходил, я поговорю и о них, но не теперь... Я должен бы был в начале своей речи сказать, что я не могу представить относительно двух подсудимых, Станислава Янсена и Акар, прямых доказательств. Защита, вероятно, будет поэтому говорить, что обвинение мною не доказано, что всякое сомнение должно служить в пользу подсудимого. Я на это скажу, что если требовать для обвинения в распространении фальшивых ассигнаций поимки человека с бумажками в руках, который затем во всем сознается, тогда, пожалуй, и судить не нужно, тогда возможно действовать одними карательными мерами. Затем мне могут сказать, что сомнение служит в пользу подсудимого. Да, это счастливое и хорошее правило! Но, спрашивается, какое сомнение? Сомнение, которое возникает после оценки всех многочисленных и разнообразных доказательств, которое вытекает из оценки нравственной личности подсудимого. Если из всей этой оценки, долгой и точной, внимательной и серьезной, все-таки вытекает такое сомнение, что оно не дает возможности заключить о виновности подсудимого, тогда это сомнение спасительно и должно влечь оправдание. Но если сомнение является только от того, что не употреблено всех усилий ума и внимания, совести и воли, чтобы, сгруппировав все впечатления, вывести один общий вывод, тогда это сомнение фальшивое, тогда это плод умственной расслабленности, которую нужно побороть. Над сомнением нужно поработать, его нужно или совсем победить, или совсем ему покориться, но сделать это во всяком случае серьезно, взвесив и оценив данные для обвинения. Мне оставалось бы лишь сказать о важности преступления. Я говорил, однако, уже об этом. Упомяну только, что от него много потерпевших и что во имя этих потерпевших нужно строго относиться к деянию, совершенному подсудимыми. Россия в последнее время сделалась обширным полем, на котором ведется систематическая война против общества и государства посредством кредитной подделки всевозможных систем. Против каждого из русских людей, против всего нашего отечественного рынка, против нашего кредита и против целого общества – ввозом фальшивых бумажек ведется война; от преступления здесь страдает и отдельная личность, и целое общество. Эта война не может быть, однако, терпима, нужно по возможности стараться прекратить ее. Подделыватели и распространители фальшивых билетов вносят в эту войну искусство, ум, энергию, изобретательность и всевоз-

можные средства, нечистые и бесчестные, но обдуманнные и ловкие. У нас есть против этого одно средство – чистое, торжественное и хорошее. Это средство – суд. Только судом можно сократить, в сфере государственной и общественной безопасности, подобного рода преступления и не давать им развиваться. Господа присяжные заседатели, ваш приговор является таким средством. Он является сильным оружием в борьбе общества с поддельвателями и распространителями. Если вы придете к тому выводу, к которому пришло обвинение, если вы взвесите все обстоятельства дела внимательно, то, может быть, ваш приговор покажет, что это средство сильно, что это оружие для борьбы не заржавело и что оно строго и беспристрастно карает виновных в таких против общества преступлениях, каково настоящее.

Я прошу несколько минут внимания. Постараюсь быть краток. Существенными местами защиты вообще я считаю объяснения о личностях переводчиков, о которых говорил Эмиль Янсен, указания на отсутствие капиталов у Янсенов и замечания, которыми защита хочет доказать, что они, придя к Обри, действовали как ни в чем не повинные люди. Но прежде чем приступить к разбору этих доводов, я должен сделать маленькое отступление, ввиду заявлений защитника Станислава Янсена. Он нападает на обвинительный акт и с особой энергией старается поставить на вид то, что он называет «невниманием и неразборчивостью в составлении обвинительного акта». Но я думаю, что это совершенно напрасная затрата сил. Вы судите, господа присяжные, на основании того, что вы видите и слышите здесь на суде, и живое впечатление происходящего пред вашими глазами, вероятно, отодвигает обвинительный акт на задний план. Пред вами раздается живое слово, и на него-то желательно слышать возражения, вместо опровержения таких мест обвинительного акта, на которые вовсе не указывалось во время судебных прений. Перейдем поэтому прямо к возражениям на обвинительную речь. Защита, разбивая обвинение, особенно долго останавливается на письме «Старого», но обвинение ему вовсе не придает особенного значения: я не просил даже и о прочтении этого письма и тем лишал себя права на него ссылаться. Правда, мне помог один из защитников, который счел нужным обратить ваше внимание на это письмо. Оно, по мнению обвинения, указывает на давние сношения Янсена с курьерами, подписано подозрительным именем «Старый», которое намекает на какие-то особые интимные отношения между Янсеном и автором письма. Но обвинитель забывает, говорит защитник Станислава Янсена, что писать или произносить по-французски длинные польские фамилии, оканчивающиеся на «ский», почти невозможно, чему служит указанием даже один из известных водевилей Скриба. Я готов согласиться, что французские буквы плохо складываются при писании польской фамилии, но все-таки, прочитав письмо, прежде чем говорить о нем, не могу не заявить, что ссылка на французский водевиль мало помогает делу и для обвинения не опасна по очень простой причине: письмо написано по-польски. Поляк, наверно, не затруднился бы написать свою фамилию на родном языке, какие бы «трудные» буквы в нее ни входили. Перехожу к более существенным доводам защиты. Нам говорят, что Вернике существует и что надо верить показанию Эмиля; если бы он знал, что ему дают бумажки, и хотел бы их провезти, он мог бы положить их в карман; посылка, согласно его новейшему рассказу, должна была быть отдана Риу, потому что не была еще готова. Но где же этот Вернике? По самому тщательному розыску он не найден, да и действия его какие-то странно-неосновательные, чтобы не сказать более. Он имеет бумажки на большую сумму – плод долгих трудов поддельвателей – и пристаёт с ними к первому попавшемуся в кафе человеку, с которым почти вовсе незнаком. Но ведь если Эмиля и не обыщут на таможне, то он сам может посмотреть, что такое он везет, и присвоить бумажки себе, или выбросить, или отдать полиции! Однако и этот рискованный комиссионер не может ждать и поручает обратиться к Риу. Но Риу человек оседлый: он служит в Париже, занимает место химика горной школы, он сам не поедет в Россию, следовательно, он пошлет посылку Эмилю. Но на почте ее вскрыют – непременно. Защита скажет, быть может, что Вернике знал, что Риу отправит чрез курьера посольства. Нет, он этого знать не мог! Он должен был явиться к Риу тотчас по отъезде Эмиля.

Эмиль уехал 21 января, а о курьерах впервые говорится (по словам самого же Риу) лишь между 10 и 12 февраля, в телеграмме, присланной Эмилем из Петербурга. Очевидно, что несуществующий Вернике действует безумноопрометчиво. Да и можно ли предположить, чтобы подделыватели таких превосходно сработанных ассигнаций, выпускаемых на огромную сумму (в Варшаве арестовано бумажек на 100 тыс., в Петербурге на 18 и по России на 32 500, итого на 150 с лишком тыс.), можно ли предположить, чтобы они не имели никакого устройства, никакой определенности в своих оборотах, не имели верных людей, опытных сбытчиков, чтобы они сновали, бегали и отдавали свои бумажки первому встречному и тому, на кого он укажет? Это просто немыслимо! Эмиль мог бы провезти две пачки бумажек в карманах, если бы хотел, говорят нам. Но вспомните номера билетов, незнание Эмилем русского языка и обычаев и его отношения к отцу, и вы увидите, что он не мог везти с собою билетов. Почему? Потому, что их ему бы и не дали, так как он ехал «внове». Ему вручили только образчик – № 91701. «Покажи, мол, в Петербурге, и если окажется хорош и условия сбыта удобны, то напиши, чрез кого и когда пересылать». С этим-то билетом и явился Эмиль к отцу, тот одобрил – и посылка явилась после телеграммы и письма к Риу. Янсена-отца выставляют застарелым сбытчикам бумажек, говорит защита, но где же нажитые им капиталы? Да их не должно быть, этих капиталов! Янсен жил хорошо и в довольстве, расплачивался, начиная с 1860 года, с довольно значительными парижскими долгами и вел обширную торговлю. Он не был, так сказать, банкиром для фальшивых бумажек, он был для них менялой, фактором и потому мог получать хорошую прибыль, но не наживать сразу огромных капиталов. Правда, два раза представлялся случай забрать большую сумму в руки, но оба раза помешало неуместное любопытство посторонних. Раз полюбопытствовал Гарди – и пришлось сжечь целую пачку пятидесятирублевых билетов; другой раз полюбопытствовал Обри – и пришлось предстать пред вами, господа присяжные заседатели. Наконец, по мнению защиты, поведение Янсенов у Обри указывает на сознание ими своей невиновности. Если бы было иначе – они могли бы не приходить, а придя – уйти немедленно, не торговаться, торопиться и поскорей сбыть ящик. Но едва ли это так. Прежде всего Янсены не знали, что Обри распаковал ящик, тем более что он сказал мадам Янсен, что ящик еще в посольстве. Поэтому Янсены смело могли прийти к Обри. Придя, они увидели, что ящик был открываем. Что же делать? У них должны были явиться три неизбежных предположения. Первое – что Обри не смотрел бумажек, не распечатывал пакетов. Остается отдать ему деньги и уйти. Второе – что Обри знает о содержании пакетов, но не сообщил полиции. Остается тоже взять пакеты подобра-поздорову и уходить, обласкав Обри и дав ему денег. Если уйти просто – он может поднять крик, показать обличительный адрес на клеенке, и дело пропадет. Третье – что Обри заявил полиции, и каждую минуту она может явиться. Главная улика, кроме ящичка, – пребывание в квартире Обри. Поэтому надо покориться судьбе и постараться в то же время уничтожить эту улику. Для этого надо совершенно спокойно взять ящик и торговаться для виду и затем, не торопясь, уйти, и если по выходе на улицу полиция не явится тотчас, оплошает, то действительно забросить ящик куда-нибудь и таким образом спрятать концы в воду. Но полиция не оплошала... Итак, действия Янсенов в квартире Обри несколько не служат к их оправданию. Защита говорит, что они не могли так неосторожно ставить на карту свою безопасность, я же думаю, что они до прихода к Обри ничем не рисковали, а придя, действительно увидели, что поставили свою безопасность и не на карту, а на фальшивую бумажку, но ретироваться было и поздно, и даже невозможно. Можно еще указать на действия Эмиля с печатью. Какую из «версий», по выражению его защитника, ни принять, рассказ оказывается вымышленным. Если посылка Вернике не была готова при отъезде Эмиля, то как же она оказалась запечатанною тою печатью, которую он привез? Значит, она была готова. Затем, если она не была еще готова, то почему же Эмиль не предложил вложить и печать в посылку, вместо того, чтобы везти ее в Россию отдельно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.